# Бюг-Жаргаль

# Виктор Гюго

## Предисловие[[1]](#footnote-1)

В 1818 году автору этой книги было шестнадцать лет; он держал пари, что за две недели напишет книгу. И он написал «Бюг-Жаргаля». В шестнадцать лет держат пари по любому поводу и пишут на любую тему.

Эта книга была, следовательно, написана за два года до «Гана Исландца». И хотя семь лет спустя, в 1825 году, автор переработал ее и значительную часть написал заново, тем не менее она и по существу и по многим подробностям осталась первым творением автора.

Он просит прощения у читателей, что останавливает их внимание на столь незначительных вещах, но он думает, что небольшое число лиц, любящих располагать произведения всякого, даже малоизвестного, поэта по старшинству, в порядке их появления на свет, не будут пенять ему на то, что он сообщил им возраст «Бюг-Жаргаля»; сам же автор, подобно путешественнику, который, идя своей дорогой, оборачивается назад, стараясь в туманной дали разглядеть то место, откуда он начал свой путь, хотел поделиться здесь воспоминанием о далеком времени, полном чистоты, смелости и доверчивости, когда он взял приступом этот грандиозный сюжет — восстание негров на Сан-Доминго в 1791 году, борьбу гигантов, в которой участвовали три мира: Европа и Азия, как противники, Америка же как поле боя.

*24 марта 1832*

Рассказанный ниже эпизод, основой для которого послужило восстание невольников на Сан-Доминго в 1791 году, кажется написанным в связи с известными событиями, что должно было бы помешать автору издавать его. Однако первоначальный набросок этого небольшого сочинения был отпечатан и распространен в ограниченном количестве экземпляров еще в 1820 году, в эпоху, когда политики нисколько не интересовались Гаити, поэтому совершенно ясно, что если его содержание возбуждает теперь особый интерес, то это не по вине автора. События сложились так, что нашли свой отклик в книге, а не книга откликнулась на события.

Как бы то ни было, автор не думал извлекать эту работу из мрака забвения, где она была как бы погребена; но его известили, что один столичный книгопродавец собирается переиздать его анонимный набросок, и автор счел своим долгом предотвратить это переиздание, сам опубликовав свое произведение, пересмотрев его и несколько переделав; эта предосторожность избавит его от уколов авторского самолюбия, а указанного книгопродавца от низкой спекуляции.

Многие видные люди, жители колоний или должностные лица, которых так или иначе коснулись волнения на Сан-Доминго, узнав о готовящемся издании этой работы, пожелали по собственному почину прислать автору разные материалы, тем более ценные, что почти все они не были опубликованы. Автор приносит им здесь самую искреннюю признательность. Эти документы были ему чрезвычайно полезны для того, чтобы дополнить рассказ капитана д’Овернэ подробностями местной жизни и проверить все, что вызывало сомнение в исторической правдивости.

Наконец автор должен также сообщить читателю, что история Бюг-Жаргаля — это только одно из звеньев более крупного произведения, которое должно было называться «Рассказы в походной палатке». Он задумал написать рассказы нескольких французских офицеров, которые во время войн эпохи Революции сговорились коротать длинные ночи на биваках, описывая по очереди какие-нибудь события из своей жизни. Приведенный ниже эпизод был одним из серии этих рассказов; его можно легко отделить от них; к тому же произведение, часть которого он должен был представлять, не закончено, никогда не будет закончено и не стоит того, чтоб его написали.

## I

Когда пришел черед капитана Леопольда д’Овернэ, он с недоумением поднял глаза и признался присутствующим, что не знает в своей жизни решительно ни одного события, достойного их внимания.

— Что вы, капитан, — возразил ему лейтенант Анри. — Ведь говорят, вы много путешествовали и видели свет. Вы бывали, кажется, на Антильских островах, в Африке, в Италии, в Испании?.. Капитан, смотрите-ка, вот ваша хромая собака!

Д’Овернэ вздрогнул, выронил сигару и быстро обернулся ко входу в палатку; в ту же минуту к нему подбежал, прихрамывая, огромный пес.

По пути пес раздавил сигару капитана, но капитан не обратил на это никакого внимания.

Пес лизал ему ноги, вилял хвостом, лаял, радостно прыгал вокруг и, наконец, улегся у его ног. Взволнованный и растроганный капитан рассеянно гладил его левой рукой, отстегивая правой ремень своей каски, и повторял про себя: «Это ты, Раск! Это ты!» Вдруг он воскликнул:

— Но кто же тебя привел?

— С вашего позволения, господин капитан...

Уже несколько минут сержант Тадэ стоял у входа, откинув край палатки, держа правую руку под полой мундира, и со слезами на глазах молча наблюдал развязку этой Одиссеи. Наконец он осмелился произнести: «С вашего позволения, господин капитан...»; д’Овернэ взглянул на него.

— Это ты, Тад? Черт возьми, как же ты умудрился?.. Бедный пес! Я думал, что он в лагере у англичан. Где же ты его нашел?

— Слава богу, вы видите, господин капитан, что теперь я так же весел, как ваш племянник, когда вы учили его склонять по-латыни cornu — рог, cornu — рога...

— Да ты мне толком скажи, где нашелся Раск?

— Он не нашелся, господин капитан, мне пришлось самому пойти искать его.

Капитан встал и протянул сержанту руку; он не заметил, что Тадэ все так же прятал руку под полой мундира.

— Дело в том... видите ли, господин капитан, с тех пор как бедный Раск пропал, я заметил, с вашего позволения, конечно, что вам чего-то недостает. Сказать по правде, в тот вечер, когда он не прибежал, как всегда, разделить со мной мою порцию хлеба, старый Тад чуть не расплакался, как малое дитя. Но нет, слава богу, я плакал всего два раза в жизни: первый раз, когда... в тот день, что... — и сержант с тревогой взглянул на своего начальника. — А второй, когда этот бездельник Балтазар, капрал седьмого полка, заставил меня очистить связку луку.

— Однако, Тадэ, — воскликнул, смеясь, Анри, — вы, кажется, так и не сказали нам, по какому случаю вы плакали в первый раз.

— Вероятно, это было тогда, старина, когда тебя обнял Латур д’Овернь, первый гренадер Франции[[2]](#footnote-2)? — ласково спросил капитан, продолжая гладить собаку.

— Нет, господин капитан, уж если сержант Тадэ заплакал, то согласитесь, что это могло случиться только в тот день, когда он крикнул: «Пли!» при расстреле Бюг-Жаргаля, по прозвищу Пьеро.

Какая-то тень пробежала по лицу капитана д’Овернэ. Он быстро подошел к сержанту и хотел пожать ему руку; но, несмотря на такую высокую честь, старый Тадэ все так же прятал руку под полой мундира.

— Да, господин капитан, — продолжал Тадэ, отступая на несколько шагов от д’Овернэ, устремившего на него скорбный взгляд, — в тот раз я заплакал; и даю слово, он этого стоил! Он был черен, это правда, но ведь и порох черен, а... а... все же... все же...

Славному сержанту очень хотелось с честью довести до конца свое странное сравнение. В этом сближении, видимо, было что-то привлекавшее его, но он тщетно пытался выразить свою мысль. После нескольких попыток, так сказать, атаковать ее с разных сторон он, подобно полководцу, которому не удается взять крепость приступом, внезапно снял осаду и продолжал, не обращая внимания на улыбки слушавших его молодых офицеров:

— Помните, господин капитан, как этот бедняга негр прибежал запыхавшись в ту самую минуту, когда его десять товарищей уже были на месте? Сказать по правде, их пришлось связать. Командовал я. И вот он сам развязал их, чтобы стать на их место, несмотря на их сопротивление. Он был непоколебим. Ах, что за человек! Настоящий Гибралтар! А потом, помните, господин капитан, как он стоял спокойно и прямо, точно перед началом танца, и как его пес, вот этот самый Раск, вдруг понял, что хотят сделать с его хозяином, и разом прыгнул мне на грудь?

— Обычно, Тад, — перебил его капитан, — в этом месте ты останавливался и прерывал свой рассказ, чтобы погладить Раска. Взгляни, как он смотрит на тебя.

— Это правда, — ответил смущенно Тадэ, — бедняга Раск смотрит на меня; но... старуха Малагрида сказала, что гладить левой рукой нельзя — это приносит несчастье.

— А почему же не правой? — с удивлением спросил д’Овернэ и тут только заметил, что рука Тадэ спрятана под мундиром, а лицо его очень бледно.

Сержант смутился еще сильней.

— С вашего позволения, господин капитан, дело в том, что... У вас уже есть хромая собака, боюсь, как бы у вас не оказался еще и однорукий сержант.

Капитан вскочил со стула.

— Как? Почему? Что ты говоришь, старина? Не может быть! Покажи свою руку. Боже мой... однорукий!

Д’Овернэ весь дрожал; сержант медленно отвернут полу мундира, и капитан увидел его руку, обмотанную окровавленной тряпкой.

— Ах, боже мой! — пробормотал капитан, осторожно приподнимая повязку. — Но скажи мне, дружище...

— Да все было очень просто. Я уж говорил вам, что заметил, как вы горюете с тех пор, как проклятые англичане украли вашего чудного пса, беднягу Раска, собаку Бюга... Ну да хватит об этом. Вот я и решил сегодня привести его обратно, чего бы это мне ни стоило, чтобы вечером, наконец, поужинать с удовольствием. Я поручил солдату Матле хорошенько вычистить ваш парадный мундир, так как завтра ждут сражения, а сам, захватив с собой только саблю, незаметно сбежал из лагеря и стал пробираться прямо через изгороди, чтобы поскорее попасть к лагерю англичан. Не успел я дойти до первых укреплений, как, с вашего позволения, господин капитан, увидел в лесочке слева целую толпу красных мундиров. Я подполз поближе, чтобы разнюхать, что там такое; никто меня не заметил, и я вскоре разглядел между ними Раска, привязанного к дереву; тут же рядом два милорда, голые вот до сих пор, как дикари, отчаянно лупили друг друга кулаками; треск стоял такой, будто били в полковой турецкий барабан. Представьте себе, эти два английских джентльмена устроили дуэль из-за вашей собаки! Но тут Раск увидел меня и рванулся с такой силой, что веревка лопнула, и в тот же миг этот мошенник уже мчался за мной по пятам. Вы понимаете, что и вся банда не осталась на месте. Я бросился в лес. Раск за мной. Несколько пуль просвистело у меня над ухом. Раск лаял, но, к счастью, они его не слышали, так как сами вопили: «French dog! French dog!»,[[3]](#footnote-3) хотя на самом деле ваша собака — красивый добрый пес из Сан-Доминго. Но это не важно. Я пробрался сквозь чащу и только вышел на опушку, как вдруг два красных мундира выросли передо мной. Моя сабля помогла мне отделаться от одного из них и наверное избавила бы и от второго, если б его пистолет не был заряжен. Вы сами видите мою правую руку. Ну да не беда! Раск бросился ему на шею, как старому другу; ручаюсь головой, что это были крепкие объятия — англичанин тут же свалился задушенный. Что ж, сам виноват! Зачем этот чертов солдат привязался ко мне, как нищий к семинаристу! Ну, а теперь Тад вернулся в лагерь, и Раск тоже. Я жалею только об одном: что господь бог не захотел послать мне эту рану в завтрашнем бою. Вот и все!

Лицо старого сержанта омрачилось при мысли, что он был ранен не в сражении.

— Тадэ!.. — гневно вскричал капитан. Затем он закончил более мягко: — С ума ты, что ли, сошел, что рискуешь жизнью ради собаки?

— Не ради собаки, господин капитан, а ради Раска. Взгляд капитана д’Овернэ совсем смягчился. Сержант продолжал:

— Ради Раска, собаки Бюга...

— Будет, будет, дружище Тад! — воскликнул капитан, прикрывая глаза рукой. — Ну, — сказал он после короткого молчания, — обопрись на меня и пойдем в лазарет.

После почтительного сопротивления Тадэ повиновался. Раск, который во время этой сцены от радости наполовину изгрыз прекрасную медвежью шкуру, принадлежавшую его хозяину, встал с места и пошел за ними.

## II

Эта сцена привлекла к себе внимание и возбудила живейшее любопытство веселых собеседников.

Капитан Леопольд д’Овернэ был одним из тех людей, которые всегда, на какую бы ступень их ни поставила случайность рождения или события общественной жизни, внушают к себе невольное уважение, смешанное с интересом. А между тем вы не увидели бы в нем ничего замечательного; манеры его были сдержанны, взгляд равнодушен. Тропическое солнце хотя и покрыло загаром его лицо, но не сообщило той живости его движениям и разговору, какая у креолов нередко сочетается с изящной томностью. Д’Овернэ мало говорил, редко слушал и всегда готов был действовать. Он первым вскакивал на коня и последним возвращался в палатку; можно было подумать, что в физической усталости он ищет отвлечения от своих мыслей. Эти печальные и суровые мысли, избороздившие преждевременными морщинами его лоб, были не из тех, от которых можно избавиться, поделившись ими с собеседником, и не из тех, которые в пустой болтовне легко вливаются в поток чужих суждений. Леопольд д’Овернэ, не знавший усталости в ратных трудах, казалось, испытывал бесконечное утомление от того, что мы называем состязанием умов. Он избегал споров так же, как искал сражений. Если он иногда позволял втянуть себя в словесный поединок, он говорил всего несколько слов, полных глубокого смысла и ума, а затем, в ту минуту, когда его противник уже готов был сдаться, он внезапно обрывал свою речь фразой: «К чему все это?» и выходил, чтобы спросить у командира, не найдется ли какого-нибудь дела до наступления или атаки.

Товарищи прощали ему его суровость, скрытность и молчаливость, потому что он всегда оставался храбрым, добрым и благожелательным. Многих из них он спас от смерти, рискуя собственной жизнью, и все знали, что хотя он редко раскрывает рот, зато кошелек его всегда открыт для всех. В полку его любили и прощали ему даже то, что он внушал к себе чувство особого почтения.

А между тем он был молод. На вид ему давали лет тридцать, но на самом деле ему было значительно меньше. Несмотря на то, что он уже довольно давно сражался в рядах республиканцев, никто не знал его прошлого. Единственное существо, не считая Раска, к которому он проявлял живую привязанность, — старый сержант, добряк Тадэ, вместе с ним поступивший в полк и никогда не покидавший его, изредка туманно намекал на некоторые события из его жизни. Было известно, что д’Овернэ жил в Америке, где испытал ужасные несчастья; что он женился в Сан-Доминго и потерял там жену и всю свою семью во время резни, с которой началось восстание рабов в этой богатейшей колонии[[4]](#footnote-4). В ту историческую эпоху подобные несчастья были так обычны, что по отношению к ним установилось своего рода всеобщее сострадание, куда каждый вносил и откуда черпал свою долю. Капитану д’Овернэ, конечно, сочувствовали, и не столько из-за понесенных им утрат, сколько вследствие мужества, с которым он переносил свои страдания. И правда, под его ледяным равнодушием порой угадывалась боль глубокой и неизлечимой раны.

Как только начиналось сражение, лицо его светлело. Он дрался с такой отвагой, как будто стремился стать генералом, и держался с такой скромностью после победы, как будто хотел остаться простым солдатом. Его товарищи, видя это презрение к чинам и славе, не понимали, почему перед битвой он словно чего-то ждет, и не догадывались, что из всех случайностей войны д’Овернэ призывал только одну — смерть.

Народные представители, присланные в армию, однажды, во время боя, хотели назначить его командующим бригадой; но он отказался, так как, уходя из полка, ему пришлось бы расстаться с сержантом Тадэ. Через несколько дней он вызвался провести опасную операцию и остался невредим, вопреки ожиданию товарищей и собственной надежде. Тогда он пожалел, что отказался от высокого чина. «Потому что, — говорил он, — если вражеские пули всегда щадят мою жизнь, то, быть может, гильотина, разящая всех, кто возвышается над другими, не обошла бы и меня».

## III

Таков был человек, о котором, лишь только он вышел из палатки, завязался следующий разговор:

— Держу пари, — воскликнул лейтенант Анри, вытирая свой красный сапог, на котором Раск, пробегая мимо, оставил большое грязное пятно, — держу пари, что капитану дороже перебитая лапа его собаки, чем десять корзин мадеры, что мы видели на днях в большом генеральском фургоне.

— Тише, тише! — весело сказал адъютант Паскаль. — Это была бы невыгодная сделка: корзины давно пусты, поверьте, уж я-то знаю об этом; а тридцать порожних бутылок, — прибавил он с серьезным видом, — согласитесь, лейтенант, не стоят лапы бедного пса: из нее, как-никак вышла бы ручка для дверного звонка.

Серьезный тон, каким адъютант произнес последние слова, рассмешил всех. Не засмеялся только молодой офицер баскских гусар Альфред; лицо его выражало неодобрение.

— Не понимаю, господа, что вы тут находите смешного. И собака и сержант, которых я всегда вижу подле д’Овернэ с тех пор, как его знаю, по-моему могут скорее вызвать интерес. Наконец эта сцена...

Паскаль, раззадоренный и недовольством Альфреда и веселостью остальных, прервал его:

— Эта сцена уж очень сентиментальна! Скажите, какая важность — найденная собака и простреленная рука!

— Вы не правы, капитан Паскаль, — возразил Анри, выкидывая из палатки только что опорожненную им бутылку, — этот Бюг, по прозвищу Пьеро, вызывает мое любопытство.

Паскаль, готовый рассердиться, тут же остыл, заметив, что его недавно опустевший стакан уже снова наполнен. В это время вошел д’Овернэ и молча сел на прежнее место. Он был задумчив, но лицо его стало спокойнее. Казалось, он так погружен в свои мысли, что ничего не слышит из того, что говорится вокруг. Раск, вошедший вслед за ним, улегся у его ног и беспокойно поглядывал на него.

— Дайте ваш стакан, капитан д’Овернэ. Попробуйте-ка этого вина!

— О, слава богу, рана не опасна, рука цела, — сказал капитан, думая, что отвечает на вопрос Паскаля.

Только невольное уважение, внушаемое капитаном своим товарищам по оружию, удержало веселый смех, готовый сорваться с губ Анри.

— Раз вы больше не тревожитесь за Тадэ, — сказал он, — а мы условились, что каждый расскажет какое-нибудь приключение, чтобы скоротать эту походную ночь, я надеюсь, дорогой друг, вы сдержите слово и расскажете нам историю вашего хромого пса и Бюга... не знаю дальше его имени... по прозвищу Пьеро, этого «настоящего Гибралтара», как говорит Тадэ!

На этот вопрос, заданный полусерьезным, полушутливым тоном, д’Овернэ ничего бы не ответил, если бы к просьбе лейтенанта не присоединились все присутствующие.

В конце концов он уступил их уговорам.

— Так и быть, я исполню ваше желание, господа; но я расскажу вам совсем простую историю, в которой к тому же играю весьма второстепенную роль. Если, видя дружбу, связывающую Тадэ, Раска и меня, вы ожидаете услышать что-то необыкновенное, то вы ошибаетесь, предупреждаю вас. Итак, я начинаю.

Наступило полное молчание. Паскаль допил залпом свою фляжку с водкой, Анри завернулся от ночной свежести в полуизгрызенную медвежью шкуру; затих и Альфред, напевавший галицийскую песенку «Mataperros».[[5]](#footnote-5)

Д’Овернэ на минуту задумался, словно для того, чтоб освежить в памяти события, давно вытесненные другими; наконец он заговорил, медленно, тихим голосом и часто останавливаясь.

## IV

Родился я во Франции, но еще в юности был отправлен в Сан-Доминго к моему дяде, очень богатому плантатору, на дочери которого я должен был жениться.

Поместье моего дяди находилось по соседству с фортом Галифэ, а его плантации занимали большую часть Акюльской равнины.

Это несчастное местоположение, подробное описание которого вам покажется, наверно, мало интересным, и было одной из главных причин бедствий и гибели всей моей семьи.

Восемьсот негров обрабатывали громадные владения дяди. Должен признаться, что жалкое положение этих невольников еще ухудшалось из-за бездушия их хозяина. Мой дядя был из числа тех, по счастью немногочисленных, плантаторов, сердце которых очерствело от долголетней привычки к неограниченной власти. Он привык, чтобы ему повиновались с одного взгляда, и жестоко наказывал раба за малейшее промедление; заступничество его детей большей частью только разжигало его гнев. Поэтому чаще всего мы были вынуждены лишь тайно облегчать страдания, которые не могли предотвратить.

— Ну, теперь пойдут красивые фразы, — сказал вполголоса Анри, наклоняясь к своему соседу. — Капитан, конечно, не упустит случая, рассказывая о несчастной судьбе так называемых «чернокожих», прочитать нам небольшую диссертацию о нашем долге, гуманности и прочем и прочем. По крайней мере в клубе «Массиак»[[6]](#footnote-6) уж без этого бы не обошлись.

— Благодарю вас, Анри, что вы не дали мне попасть в смешное положение, — сказал холодно д’Овернэ, услыхавший его слова.

Затем он продолжал.

— Из всех рабов дяди только один пользовался его расположением. Это был карлик, полуиспанец, полунегр, так называемый замбо,[[7]](#footnote-7) подарок лорда Эфингема, губернатора Ямайки. Дядя, долгое время живший в Бразилии, приобрел там привычку к португальской роскоши и любил окружать себя дома пышностью, соответствующей его богатству. Толпа рабов, вышколенных на манер европейской прислуги, придавала его дому княжеский блеск. Для полноты картины он сделал раба лорда Эфингема своим «дураком», в подражание старинным феодальным князьям, державшим шутов у себя при дворе. Надо признать, что выбор был сделан необыкновенно удачно. Замбо Хабибра (так его звали) был одним из странных созданий, телосложение которых так необычно, что они казались бы чудовищами, если бы не были так смешны. Этот отвратительный карлик, коротконогий, толстый, пузатый, двигался с необыкновенной быстротой на тоненьких и хилых ножках, которые, когда он садился, складывались под ним, как паучьи лапы. На его огромной, тяжелой голове, как будто вдавленной в плечи и заросшей курчавой рыжей шерстью, торчали такие громадные уши, что его товарищи часто уверяли, будто Хабибра утирает ими слезы, когда плачет. Лицо его вечно делало самые неожиданные гримасы, и эта необыкновенная подвижность черт придавала удивительное разнообразие ею уродству. Дядя любил это страшилище за его неизменную веселость. Хабибра был его любимцем. В то время как другие рабы изнемогали от непосильной работы, у Хабибры не было иного дела, как только носить за своим хозяином широкое опахало из перьев райской птицы, чтоб отгонять от него москитов и мух. Ел он у дядиных ног на камышовой циновке, и тот всегда давал ему остатки какого-нибудь любимого кушанья с собственной тарелки. Хабибра, казалось, был очень благодарен за все эти милости; он пользовался своими привилегиями шута, правом делать и говорить все, что ему вздумается, только для того, чтобы развлекать своего господина всевозможными прибаутками и ужимками; проворный, как обезьяна, и преданный, как пес, он бежал к дяде по первому знаку.

Я не любил этого раба. В его подобострастии было что-то от пресмыкающегося; рабство не позорно, но раболепство унизительно. Я чувствовал искреннюю жалость к несчастным неграм, которых видел целый день за работой полунагими, причем одежда даже не прикрывала их цепей; но этот безобразный фигляр, этот бездельник в дурацкой пестрой одежде, обшитой галунами и усеянной бубенчиками, вызывал во мне только презрение. К тому же карлик ни разу не воспользовался влиянием, которое ценою всевозможных низостей приобрел над хозяином, чтобы облегчить участь своих братьев. Никогда он не заступался за них перед господином, так часто наказывавшим их; однажды кто-то даже слышал, как он, думая, что никого нет поблизости, уговаривал моего дядю быть построже с его несчастными товарищами. Однако остальные невольники, которые должны были бы смотреть на него с завистью и недоверием, казалось, не чувствовали ненависти к нему. Он лишь внушал им какой-то почтительный страх, нисколько не походивший на враждебность; и когда они видели, как он шествует мимо их хижин в высоком остроконечном колпаке с бубенчиками, на котором нарисовал красными чернилами непонятные знаки, они говорили друг другу шепотом: «Вон идет obi».[[8]](#footnote-8)

Эти подробности, на которых я сейчас задерживаю ваше внимание, господа, в то время очень мало занимали меня. Весь отдавшись волнениям чистой любви, казалось такой безмятежной, — любви, разделяемой девушкой, с детства мне предназначенной, я рассеянно глядел на все, что не касалось Мари. С самых ранних лет я привык смотреть на ту, кто была мне почти сестрой, как на будущую жену, и между нами возникла особая привязанность, характер которой трудно выразить, если даже сказать, что она сложилась из братской преданности, страстного увлечения и супружеского доверия. Мало кто был так счастлив, как я в первые годы юности; мало кто пережил расцвет своих чувств под более прекрасным небом, чудесно сочетая счастье в настоящем с надеждами на будущее. Почти с колыбели я был окружен всеми благами богатства, пользовался всеми преимуществами общественного положения, которое дает в этой стране цвет кожи; я проводил дни подле создания, которому я отдал всю мою любовь; я видел, что наши родные, единственно, кто мог бы помешать ей, покровительствуют нам, — и все это в возрасте, когда кровь кипит, в стране вечного лета, среди восхитительной природы! Разве это не давало мне права слепо верить в мою счастливую звезду? Разве это не дает мне права сказать, что мало кто был так счастлив, как я, в первые годы юности?

Капитан замолк, как будто голос изменил ему при воспоминании о былом счастье. Потом продолжал с глубокой грустью:

— Правда, теперь я имею еще право добавить, что никто не проводит более печально свои последние дни.

И будто почерпнув новые силы в сознании своего несчастья, он продолжал твердым голосом.

## V

Так жил я, полный иллюзий и радужных надежд, когда наступил двадцатый год моей жизни. В августе 1791 года был день моего рождения, и на этот день дядя назначил нашу свадьбу с Мари. Вы, конечно, понимаете, что ожидание такого близкого счастья поглощало меня целиком, и поэтому все политические споры, которые в течение последних двух лет волновали нашу колонию, лишь смутно припоминаются мне теперь. Итак, я не буду говорить вам ни о графе Пенье, ни о господине де Бланшланд[[9]](#footnote-9), ни о несчастном, так трагически погибшем полковнике Модюи[[10]](#footnote-10). Не стану описывать соперничество между провинциальным собранием Севера и тем колониальным собранием, которое наименовало себя «генеральным», считая, что слово «колониальное» пахнет рабством. Эти пустые споры, в те времена будоражившие все умы, теперь могут нас интересовать только из-за бедствий, которые они вызвали. Что до меня, то если я имел в ту пору свое мнение об этой борьбе за первенство между Капом и Порт-о-Пренсом[[11]](#footnote-11), я должен был, естественно, стоять за Кап, на территории которого мы жили, и за провинциальное собрание, членом которого был мой дядя.

Всего один раз довелось мне принять живое участие в споре на злобу дня. Речь шла о злосчастном декрете от 15 мая 1791 года, в котором французское Национальное собрание признавало за свободными цветными такие же политические права, как и за белыми. На балу, данном губернатором в нашем городе, несколько молодых людей горячо обсуждали этот закон, так жестоко уязвивший самолюбие белых, быть может и обоснованное. Не успел я еще вмешаться в разговор, как увидел, что к нашей группе подходит богатый плантатор, которого белые неохотно принимали в своем обществе, ибо цвет его кожи вызывал подозрения относительно чистоты его крови. Я быстро подошел к этому человеку и громко сказал:

— Отойдите отсюда, сударь; здесь говорят вещи, неприятные для того, у кого в жилах течет «смешанная кровь».

Это обвинение привело его в такую ярость, что он вызвал меня на дуэль. Мы оба были ранены. Сознаюсь, я был неправ, оскорбив его; не думаю, однако, что «расовый предрассудок», как его называют, явился единственной причиной, толкнувшей меня на такой поступок: человек этот с некоторых пор имел дерзость заглядываться на мою кузину, и за несколько минут до того, как я неожиданно унизил его, он танцевал с ней.

Как бы то ни было, я с упоением видел, что близится час, когда Мари станет моей, и оставался равнодушным ко все возраставшему возбуждению, охватившему умы окружавших меня людей. Устремив взор навстречу своему счастью, я не замечал зловещей тучи, уже закрывшей почти весь наш политический горизонт, — тучи, которой суждено было, разразившись бурей, разбить всю нашу жизнь. Нельзя сказать, чтобы даже самые пугливые люди в ту пору уже серьезно опасались восстания рабов, — они слишком презирали их, чтобы бояться; но даже между белыми и свободными мулатами царила такая ненависть, что этот долго сдерживаемый вулкан мог дохнуть огнем в любую минуту и опрокинуть всю колонию.

В самом начале этого так нетерпеливо ожидаемого мною августа странное происшествие внесло неожиданную тревогу в мою безмятежную жизнь.

## VI

На берегу красивой реки, омывавшей плантации дяди, по его приказу была построена небольшая беседка из ветвей, со всех сторон окруженная плотной стеной деревьев. Сюда Мари приходила каждый день подышать легким морским ветерком, который в самые жаркие месяцы года дует в Сан-Доминго с утра до вечера и свежесть которого увеличивается или уменьшается вместе с дневным зноем.

Каждое утро я сам старательно украшал этот уголок лучшими цветами, какие мог найти.

Как-то раз Мари прибежала ко мне очень испуганная. Войдя, как всегда, в свою зеленую беседку, она с удивлением и страхом увидела, что все цветы, которыми я утром украсил ее, валяются на полу смятые и растоптанные, а на том месте, где она обычно сидела, лежит букет свежесорванных полевых ноготков. Не успела она прийти в себя от изумления, как из чащи, окружавшей беседку, послышались звуки гитары; затем какой-то незнакомый мужской голос тихонько запел песню, как ей показалось, на испанском языке, в которой она от испуга и, быть может, девической стыдливости ничего не уловила, кроме своего имени, повторявшегося много раз. Тут она бросилась бежать, в чем ей, к счастью, никто не помешал.

Этот рассказ вызвал во мне бурю негодования и ревности. Первые мои подозрения пали на человека «смешанной крови», с которым у меня недавно произошло столкновение; однако я был еще настолько не уверен, что решил ничего не делать сгоряча. Я успокоил бедную Мари и дал себе слово не спускать с нее глаз до того близкого дня, когда я буду иметь право совсем не разлучаться с ней.

Предвидя, что незнакомец, чья дерзкая выходка так напугала Мари, не ограничится этой первой попыткой высказать ей свою любовь, о которой я, конечно, догадался, я в тот же вечер, когда на плантации все заснули, устроил засаду около той части дома, где была спальня моей невесты. Спрятавшись в высоких зарослях сахарного тростника, я ждал, вооруженный кинжалом. И ждал не напрасно. Около полуночи, в нескольких шагах от меня, в ночной тишине зазвучала грустная и задумчивая мелодия. Услышав ее, я вздрогнул, как от толчка; то была гитара, под самым окном Мари! В бешенстве размахивая кинжалом, я бросился к тому месту, откуда слышались эти звуки, ломая на пути хрупкие стебли сахарного тростника. Вдруг я почувствовал, что меня схватили и бросили на землю с какой-то сверхъестественной силой; кинжал был вырван у меня из рук, и я увидел, как он блеснул над моей головой. В тот же миг горящие глаза засверкали во тьме возле моего лица, двойной ряд белых зубов, выступивший из мрака, разжался? и чей-то голос с яростью произнес: «Те tengo! Те tengo!»[[12]](#footnote-12)

Скорее удивленный, чем испуганный, я тщетно боролся с моим грозным противником, и острие кинжала уже проткнуло мою одежду, когда Мари, разбуженная гитарой, голосами и шумом борьбы, внезапно показалась у окна. Она узнала мой голос, увидела, как блеснул кинжал, и вскрикнула в ужасе и отчаянии. Этот горестный крик как будто парализовал руку моего торжествующего соперника. Он замер, как завороженный, провел в нерешительности несколько раз кинжалом по моей груди и вдруг отбросил его прочь.

— Нет! — сказал он, на этот раз по-французски. — Нет! Она будет слишком горько плакать!

Произнеся эти странные слова, он скрылся в тростниковых зарослях, и, прежде чем я успел подняться, разбитый этой неравной борьбой, наступила тишина; ни звука, ни следа не осталось от его недавнего присутствия.

Мне очень трудно передать, что я почувствовал, когда пришел в себя от первого изумления в объятиях моей нежной Мари, которой я был так неожиданно возвращен тем самым человеком, который, видимо, собирался оспаривать ее у меня. Меня больше чем когда-либо раздражал этот неведомый соперник, и мне было стыдно, что я обязан ему жизнью. «В сущности, — подсказывало мне самолюбие, — я обязан жизнью Мари, ведь только звук ее голоса заставил его бросить кинжал». Однако я не мог не признать, что чувство, заставившее моего соперника пощадить мою жизнь, было не лишено великодушия. Но кто же был этот соперник? Я терялся в догадках. Это не мог быть плантатор «смешанной крови», на которого вначале указала мне ревность. Он не обладал такой поразительной силой, и к тому же это был не его голос. Мне показалось, что человек, с которым я боролся, обнажен до пояса. В колонии полунагими ходили только рабы. Но он не мог быть рабом: рабу, казалось мне, не свойственно то чувство, которое заставило его отбросить кинжал; к тому же все возмущалось во мне при оскорбительной мысли иметь соперником раба. Кто же он был? Я решил ждать и наблюдать.

## VII

Мари разбудила свою старую няньку, заменявшую ей мать, которая умерла, когда Мари была еще малюткой. Я провел подле нее остаток ночи, и, как только настало утро, мы рассказали дяде об этом необъяснимом происшествии. Он был крайне удивлен, но в своей гордости, так же, как и я, не допускал и мысли, что неизвестный поклонник его дочери мог быть рабом. Няньке было приказано не отходить от Мари; и так как дядя был очень занят — заседания провинциального собрания, хлопоты, доставляемые крупным плантаторам все более угрожающим положением дел в колонии, а также работы на плантациях не оставляли ему свободной минуты, — то он поручил мне сопровождать его дочь во всех прогулках до самого дня нашей свадьбы, назначенной на двадцать второе августа. Кроме того, полагая, что новый поклонник его дочери мог прийти только откуда-то со стороны, он приказал строже, чем когда-либо, и днем и ночью охранять границы его владений.

Приняв все эти предосторожности, я решил, сговорившись с дядей, произвести опыт. Я пошел в беседку над рекой и, прибрав ее, снова украсил цветами, как всегда делал это для Мари.

Когда наступил час ее обычной прогулки, я вооружился заряженным карабином и предложил своей кузине проводить ее в беседку. Старая няня пошла за нами.

Мари, которой я не сказал, что уже уничтожил следы напугавшего ее вчера разгрома, вошла первой в свой зеленый домик.

— Смотри, Леопольд, — сказала она, — мой уголок все в том же беспорядке, в каком я оставила его вчера; все твои труды пропали даром, цветы разбросаны и завяли; но больше всего меня удивляет, — прибавила она, взяв в руки букет из полевых ноготков, лежавший на дерновой скамье, — что эти противные цветы совсем не завяли со вчерашнего дня. Видишь, милый друг, как будто их только что сорвали.

Я остолбенел от удивления и гнева. Действительно, весь мой утренний труд был погублен, а эти жалкие цветы, свежесть которых удивила бедную мою Мари, нагло заняли место разложенных мною роз.

— Успокойся, — сказала Мари, заметив мое волнение, — успокойся; теперь это дело прошлое, дерзкий незнакомец наверное больше сюда не вернется; выбросим вон эти мысли вместе с его гадким букетом.

Я не стал разубеждать ее, из боязни встревожить, и, не сказав, что тот, кто, по ее словам, «больше сюда не вернется», уже вернулся назад, не мешал ей топтать ноготки в порыве детского гнева. Затем, надеясь, что пришло время узнать, кто мой таинственный соперник, я молча усадил ее между собой и ее няней.

Не успели мы усесться, как Мари приложила палец к моим губам; ее слуха коснулись звуки, приглушенные ветром и плеском воды. Я прислушался; это была та же грустная и медленная мелодия, которая прошлой ночью привела меня в ярость. Я хотел вскочить с места; Мари удержала меня.

— Леопольд, — шепнула она мне, — постой, он, вероятно, запоет, и из его слов мы, может, узнаем, кто он.

И правда, через минуту из лесной чащи послышался голос, в котором звучала сдержанная сила и какая-то жалоба; сливаясь с низкими звуками гитары, он запел испанский романс, который так глубоко врезался мне в память, что и сегодня я могу повторить его почти слово в слово.

«Почему ты бежишь от меня, Мария?[[13]](#footnote-13) Почему бежишь от меня, девушка? Почему, услышав мой голос, ты дрожишь от страха? И правда, я очень страшен — я умею страдать, любить и петь!

Когда между стройными стволами кокосовых пальм на берегу реки я вижу твой легкий и чистый образ, о Мария, волнение туманит мой взор, и мне кажется, что передо мной пролетает дух.

А когда я слышу, о Мария, дивные звуки, которые льются из твоих уст, подобно мелодии, мне кажется — сердце мое рвется тебе навстречу, гулко стучит в висках и жалобно вторит твоему нежному голосу.

Увы, твой голос для меня слаще пения птиц, порхающих в небе и прилетевших оттуда, где лежит моя родина.

Моя родина, где я был королем, моя родина, где я был свободным! Свободным и королем, Мария! И я готов забыть это ради тебя; я готов забыть королевство, семью и долг, и месть, — даже месть! хотя близок час, когда я сорву этот горький и упоительный плод, который так долго зреет!»

Предыдущие строфы голос пропел печально, с частыми остановками; но последние слова прозвучали страшной угрозой.

«О Мария! ты подобна прекрасной пальме, тихо склоняющей свой стройный стан; ты ищешь свое отражение в глазах твоего милого, точно пальма в прозрачной воде родника.

Но знай, что в глубине пустыни таится порой ураган, который завидует счастью того родника; он налетает, и под взмахами его тяжелых крыльев воздух смешивается с песком; он кружится вокруг дерева и ключа огненным вихрем; и родник иссыхает, а пальма чувствует, как под дыханием смерти свертывается зеленый шатер ее листьев, величественный, как корона, и пышный, как кудри.

Трепещи, о белая дочь Испаньолы![[14]](#footnote-14)

Трепещи, как бы все кругом не стало ураганом и пустыней. Тогда ты пожалеешь о любви, которая могла привести тебя ко мне, как веселая ката, птица спасения, ведет путника через пески Африки к светлому источнику.

Почему отвергаешь ты мою любовь, Мария? Я король, и голова моя возвышается над головами всех людей. Ты белая, а я черный, но день сливается с ночью, чтобы породить зарю и закат, более прекрасные, чем светлый день».

## VIII

Последние слова песни закончились протяжным вздохом и долгим трепетным стоном гитары. Я был вне себя. «Король! Черный! Раб!» Тысячи бессвязных мыслей, вызванных этой непонятной песней, кружились в моей голове. Меня охватило яростное желание покончить с неизвестным, который осмеливается вплетать имя Мари в свои песни, полные любви и угроз. Я судорожно схватил свой карабин и бросился вон из беседки. Испуганная Мари протянула руки, чтоб удержать меня, но я уже скрылся в чаще, пробираясь туда, откуда слышался голос. Я обыскал лес во всех направлениях, просовывал дуло своего карабина во все кусты и заросли, обошел вокруг каждое толстое дерево, обшарил высокую траву. Ничего, ничего — нигде ничего! Эти бесплодные поиски, соединенные с бесплодными размышлениями о непонятных словах только что слышанной мною песни, добавили лишь смятение к моему гневу. Неужели я никогда не настигну дерзкого соперника, никогда не открою его имени! Неужели я так и не узнаю, кто он, так и не встречу его! В эту минуту звон бубенчиков отвлек меня от моих мыслей. Я обернулся. Возле меня стоял карлик Хабибра.

— Здравствуйте, хозяин, — сказал он, отвешивая мне почтительный поклон; однако его хитрые глаза искоса следили за мной и вспыхнули непередаваемым выражением злобного торжества, когда заметили тревогу, написанную на моем лице.

— Скажи, — крикнул я ему сердито, — видел ты кого-нибудь в этом лесу?

— Никого, кроме вас, сеньор, — ответил он спокойно.

— Разве ты не слышал здесь голоса?

Раб с минуту помолчал, как бы подыскивая ответ. Я весь кипел.

— Отвечай, — крикнул я ему, — отвечай же, несчастный, слышал ты здесь голос?

Он дерзко уставился на меня своими круглыми, как у рыси, глазами.

— Que quiere decir usted,[[15]](#footnote-15) хозяин? Голоса есть всюду и у всех; есть голоса птиц, голос воды, голос ветра в листве...

Я прервал его, жестоко встряхнув:

— Жалкий шут! Не вздумай играть со мной, не то ты сразу услышишь голос моего карабина. Отвечай без уверток. Слышал ли ты в этом лесу голос, певший испанскую песню?

— Да, сеньор, — ответил он, ничуть не испугавшись, — и слова этой песни... Ладно, хозяин, я расскажу вам, как было дело. Я гулял на опушке леса, слушая, что бормочут мне на ухо серебряные бубенчики моей gorra.[[16]](#footnote-16) Вдруг порыв ветра, вмешавшись в их разговор, донес до меня несколько слов на том языке, который вы называете испанским и на котором я начал лепетать, когда мой возраст определялся еще месяцами, а не годами, и когда моя мать носила меня за спиной, привязав тесемками из желтой и красной шерсти. Я люблю этот язык: он напоминает мне то время, когда я был просто малышом, но еще не карликом, глупым ребенком, но не шутом; я пошел на этот голос и услышал конец песни.

— А дальше? И это все? — спросил я в нетерпении.

— Все, господин hermoso,[[17]](#footnote-17) но если вы хотите, я могу сказать вам, что за человек тот, кто пел.

Я чуть не бросился обнимать жалкого шута.

— О, говори же, — закричал я, — говори, Хабибра! Вот тебе мой кошелек, и ты получишь еще десять кошельков, набитых туже этого, если скажешь, кто этот человек!

Он взял кошелек, открыл его и улыбнулся.

— Diez bolsas,[[18]](#footnote-18) набитых туже этого! Demonio![[19]](#footnote-19) Они наполнили бы целую меру добрыми червонцами с портретом del rey Luis Quince,[[20]](#footnote-20) и их хватило бы, чтоб засеять все поле гренадского волшебника Алторнино, который умел выращивать на нем buenos doblones.[[21]](#footnote-21) Но не сердитесь, молодой хозяин, я перехожу к делу. Вспомните, сеньор, последние слова песни: «Ты белая, а я черный, но день сливается с ночью, чтоб породить зарю и закат, более прекрасные, чем светлый день». Если эта песня говорит правду, значит замбо Хабибра, ваш смиренный раб, рожденный от негритянки и белого, прекраснее вас, senorito de amor.[[22]](#footnote-22) Я произошел от союза дня и ночи, я заря или закат, о которых говорится в испанской песне, а вы — только день. Значит, я прекраснее вас, si usted quiere,[[23]](#footnote-23) прекраснее белого человека!

Карлик прерывал свои нелепые разглагольствования взрывами смеха. Я снова оборвал его.

— К чему ты болтаешь весь этот вздор? Разве это поможет мне узнать, кто человек, певший в лесу?

— Конечно, хозяин, — продолжал шут, бросив на меня насмешливый взгляд. — Ясно, что hombre,[[24]](#footnote-24) который пел здесь весь этот «вздор», как вы говорите, мог быть только таким же шутом, как я! Вот я и заработал las diez bolsas!

Я уже поднял руку, чтобы наказать обнаглевшего раба за его дерзкую шутку, как вдруг из леса, со стороны беседки над рекой, раздался страшный крик. Это был голос Мари. Я побежал, помчался, полетел на этот крик, с ужасом спрашивая себя, какое новое несчастье могло нам угрожать. Задыхаясь, вбежал я в беседку. Там ждало меня страшное зрелище. Чудовищный крокодил, туловище которого было наполовину скрыто в речных камышах и манглевых зарослях, просунул огромную голову в одну из увитых зеленью арок, поддерживавших крышу беседки. Разинув свою отвратительную пасть, он угрожал молодому негру гигантского роста, который одной рукой поддерживал смертельно испуганную Мари, а другой смело отражал нападение чудовища, воткнув кирку в его зубастую пасть. Крокодил яростно боролся с этой смелой и могучей рукой, которая не давала ему двинуться с места. Когда я появился у входа в беседку, Мари вскрикнула от радости, вырвалась из рук негра и упала в мои объятия с криком: «Я спасена!»

При этом движении и возгласе Мари негр стремительно обернулся, скрестил руки на высоко вздымавшейся груди и, устремив на мою невесту скорбный взгляд, застыл без движения, как будто не замечая, что крокодил уже освободился от кирки и вот-вот бросится на него. Не теряя ни минуты, я опустил Мари на колени к няне, которая все это время сидела на скамье ни жива ни мертва, подбежал к чудовищу и всадил ему весь заряд своего карабина прямо в пасть. Это спасло храброго негра. Смертельно раненное животное еще два-три раза открыло и закрыло свою окровавленную пасть и потухающие глаза, но то было лишь непроизвольное сокращение мышц. Внезапно крокодил с тяжелым стуком опрокинулся на спину и вытянул широкие чешуйчатые лапы; он был мертв.

Негр, которого мне, к счастью, удалось спасти, повернул голову и увидел последние содрогания чудовища; он опустил глаза в землю, потом, подняв их на Мари, которая снова подошла ко мне, ища успокоения у меня на груди, сказал мне с глубоким отчаянием:

— Porque le has matado?[[25]](#footnote-25)

И, не дожидаясь моего ответа, он удалился крупными шагами, вошел в лес и скрылся в чаще.

## IX

Эта ужасная сцена, ее странная развязка, бесконечные волнения, пережитые мной во время, до и после тщетных поисков в лесу, окончательно спутали все мои мысли. Мари еще не оправилась от пережитого ужаса, и прошло довольно много времени, прежде чем мы могли поделиться своими бессвязными мыслями не только при помощи взглядов и рукопожатий. Наконец я нарушил молчание.

— Пойдем, Мари, — сказал я. — Выйдем отсюда; в этом месте есть что-то зловещее.

Она поспешно встала, как будто только и ждала моего позволения, оперлась на мою руку, и мы вышли.

Тут я спросил ее, как попал сюда этот негр, который в минуту смертельной опасности оказался ее чудесным спасителем, и не знает ли она, кто этот невольник, — грубые штаны, едва прикрывавшие его наготу, доказывали, что он принадлежит к самому низшему классу жителей острова.

— Этот человек, — сказала Мари, — наверное, один из негров отца, работавший поблизости от реки в тот момент, когда я вскрикнула, внезапно увидав крокодила; должно быть, он услышал мой крик, который предупредил тебя об угрожавшей мне опасности. Я могу только сказать тебе, что в ту же минуту он выбежал из леса и бросился мне на помощь.

— С какой стороны он прибежал? — спросил я ее.

— Со стороны, противоположной той, откуда минутой раньше слышался голос и куда ты бросился на поиски.

Этот рассказ заставил меня отказаться от невольно сделанного мной сближения между испанскими словами, сказанными мне этим негром, и песней, спетой на том же языке моим неизвестным соперником. Однако я заметил и другие совпадения. Этот негр могучего телосложения и исключительной силы вполне мог быть тем опасным противником, с которым я боролся прошлой ночью. И то обстоятельство, что он был полуобнажен, могло также служить веской уликой. Лесной певец сказал: «Я черный». Еще одно совпадение. Правда, он заявил, что он король, а этот был только рабом, но я с удивлением вспоминал его суровое чело, полное величия, несмотря на характерные черты африканской расы, блеск его глаз, белизну зубов, сверкавших на черном лице, высоту его лба, удивительную для негра, высокомерные складки у рта, придававшие его полным губам и ноздрям выражение необычайной гордости и силы, благородство движений, красоту его тела, которое, при всей худобе и изнуренности, вызванных тяжелым трудом, сохранило, если можно так сказать, геркулесовские формы; я представил себе весь величественный образ этого раба и должен был признаться, что у него осанка, достойная короля. Тогда, сопоставив множество других подробностей, я, пылая гневом, остановил свои подозрения на этом дерзком негре; я решил тотчас же разыскать его и наказать... Но тут на меня снова нахлынули все мои сомнения. На чем в конце концов были основаны мои догадки? Большая часть острова Сан-Доминго находилась под властью Испании, поэтому многие негры, издавна принадлежавшие местным плантаторам, либо родившиеся в этих краях, примешивали испанские фразы к своему наречию. И разве несколько слов, сказанные мне по-испански этим рабом, были достаточным основанием, чтобы считать его автором песни на этом языке, свидетельствующей о таком уровне духовного развития, который, по моему мнению, был недоступен для негра? Что касается брошенного им мне странного упрека в убийстве крокодила, то он указывал лишь на отвращение невольника к жизни, что легко объяснялось его положением, и не было никакой нужды прибегать к гипотезе о невозможной любви раба к дочери господина. Его присутствие в лесу возле беседки могло быть чистой случайностью; сила и рост его не могли служить доказательством тождества с моим ночным противником. Мог ли я, опираясь на такие шаткие доводы, бросить перед дядей ужасное обвинение несчастному рабу, с таким мужеством спасшему Мари, и обречь его на жестокую месть надменного хозяина?

Все эти мысли восставали против моего гнева, и Мари окончательно рассеяла его, сказав своим кротким голосом:

— Милый Леопольд, мы должны быть очень благодарны этому храброму негру: если бы не он, я бы погибла! Ты пришел бы слишком поздно.

Эти несколько слов имели для меня решающее значение. Они не изменили моего намерения разыскать невольника, избавившего Мари от смерти, но изменили цель моих розысков. Прежде я хотел найти его, чтобы наказать; теперь — чтобы наградить.

Узнав от меня, что он обязан жизнью дочери одному из своих рабов, дядя обещал дать ему свободу, если я сумею отыскать его в толпе этих отверженных.

## X

До последнего времени, в силу природной мягкости моего характера, я старался держаться подальше от плантаций, где работали негры. Мне было слишком мучительно смотреть на страдания несчастных, которым я ничем не мог помочь. Но когда на другой день дядя предложил мне сопровождать его во время обхода работ, я с радостью согласился, надеясь встретить среди невольников: спасителя моей любимой Мари.

Б течение этой прогулки я мог убедиться, какую власть имеет над рабами взгляд их господина и, в то же время, какой дорогой ценой дается эта власть. Негры дрожали в присутствии дяди, и когда он приближался к ним, они удваивали свои старания; но сколько ненависти было в их страхе!

Дядя, по обыкновению раздраженный, готов уже был вспылить, не находя к чему придраться, когда его шут Хабибра, всюду следовавший за ним, указал ему на негра, который, свалившись от усталости, заснул на опушке финиковой рощи. Дядя подбежал к бедняге, разбудил его грубым толчком и приказал сейчас же приниматься за работу. Когда испуганный негр вскочил на ноги, мы увидели, что он, сам того не заметив, лежал на молодом кустике бенгальских роз, которые дядя любил разводить. Куст был весь изломан. Дядя, уже рассерженный леностью раба, увидев это, пришел в бешенство. Вне себя он отстегнул от пояса кожаную плеть с металлическими наконечниками, которую всегда брал с собой во время обхода плантаций, и занес руку, чтобы ударить упавшего на колени негра. Но плеть не опустилась. Я никогда не забуду этой минуты. Могучая рука внезапно остановила руку плантатора. Высокий негр (тот самый, кого я искал!) крикнул ему по-французски:

— Накажи меня за то, что я сейчас тебя оскорбил, но не трогай моего брата, он задел только твой розовый куст!

Это неожиданное появление человека, которому я был обязан жизнью Мари, его вмешательство, решительный взгляд, властный голос ошеломили меня. Однако его самоотверженность не только не устыдила дядю, а лишь удвоила его злобу, обратив ее с виновного на его защитника. Дядя, кипя негодованием, оттолкнул высокого негра, осыпая его угрозами, и снова замахнулся плетью, чтобы на этот раз ударить его самого. Но тут плеть была вырвана у него из рук. Негр переломил ее толстую, обитую гвоздями рукоятку, как соломинку, и растоптал ногами это позорное орудие мести. Я оцепенел от удивления, а дядя от ярости; никогда его высокий авторитет не подвергался такому неслыханному оскорблению. Его глаза вращались, готовые выскочить из орбит; посиневшие губы тряслись. Невольник с минуту спокойно смотрел на него, затем вдруг протянул ему топор, который держал в руке, и сказал с достоинством:

— Белый, если ты хочешь ударить меня, возьми лучше топор.

Дядя, не помнивший себя от злости, бросился к нему и наверное исполнил бы его просьбу, если бы на этот раз не вмешался я. Быстро выхватив топор, я забросил его в находившийся рядом колодец.

— Что ты делаешь? — гневно закричал дядя.

— Я спасаю вас от несчастья убить защитника вашей дочери. Этому невольнику вы обязаны жизнью Мари. Это тот негр, которому вы обещали дать свободу.

Я выбрал неподходящую минуту, чтобы напомнить дяде его обещание. Мои слова коснулись лишь слуха взбешенного плантатора, но не дошли до его сознания.

— Свободу? — ответил он мне мрачно. — Да, он заслужил, чтобы рабство его кончилось. Свободу! Посмотрим, к какой свободе приговорит его военный суд!

Я похолодел, услышав эти зловещие слова. Вместе с Мари мы умоляли дядю отменить свое решение, но тщетно: негр, чья небрежность была причиной всей этой сцены, был наказан палками, а его защитник был брошен в тюрьму форта Галифэ, по обвинению в том, что он поднял руку на белого. Раб — против хозяина; такое преступление каралось смертью.

## XI

Судите сами, господа, как сильно все эти события должны были возбудить мой интерес и любопытство. Я стал расспрашивать о заключенном и услышал много странного. Мне рассказали, что товарищи молодого негра питали к нему глубочайшее уважение. Хотя он был таким же рабом, как и они, невольники подчинялись ему по первому знаку. Он родился не в наших краях; никто не знал его родителей; какое-то рабовладельческое судно высадило его в Сан-Доминго всего несколько лет тому назад. Тем более удивительной казалась та власть, какой он пользовался среди всех своих товарищей, не исключая даже черных «креолов», которые, как вам, вероятно, известно, господа, относились с величайшим презрением к неграм «конго» — не точное и слишком общее название, даваемое в нашей колонии всем невольникам, привезенным из Африки.

Несмотря на то, что он казался постоянно погруженным в глубокую печаль, он был драгоценным работником на плантациях благодаря его необыкновенной силе, сочетавшейся с удивительной ловкостью. Он мог крутить колесо водочерпалки быстрее и дольше самой лучшей лошади. Ему часто случалось делать за день работу десяти товарищей, чтобы спасти их от наказания, грозившего им за нерадивость или усталость. И рабы его боготворили; но уважение, которое они питали к нему, хотя и совсем не похожее на их суеверный страх перед шутом Хабиброй, тоже, по-видимому, имело какую-то тайную причину; это было что-то вроде поклонения высшему существу.

Странным казалось также, что он был настолько же добр и прост со своими братьями по труду, считавшими за честь повиноваться ему, насколько горд и высокомерен с надсмотрщиками. Правда, следует сказать, что эти пользующиеся поблажками рабы, которые являются как бы связующим звеном в цепи, сковывающей рабство с деспотизмом, и соединяют с низостью положения наглую безнаказанность власти, с особым удовольствием заваливали его работой и всячески притесняли. И все же, казалось, даже они не могли не уважать в нем того чувства гордости, которое побудило его оскорбить моего дядю. Никто из них не осмеливался подвергать его унизительным телесным наказаниям. Если они когда-нибудь и решались на это, тотчас не меньше двух десятков негров вызывались заменить его; а он, неподвижный и суровый, присутствовал при их избиении, как будто они лишь выполняли свой долг. Этот странный человек был известен среди невольников под именем Пьеро.

## XII

Все эти подробности воспламенили мое молодое воображение. Мари, полная благодарности и сострадания, поддерживала мой пыл, и Пьеро так овладел нашими мыслями, что я решил повидаться с ним и помочь ему. Я обдумывал, каким способом поговорить с ним.

Хотя я был еще очень молод, но меня, как племянника одного из самых богатых плантаторов Мыса, назначили капитаном акюльского ополчения. Охрана форта Галифэ была поручена этому ополчению, вместе с отрядом желтых драгун, командир которых, унтер-офицер этого отряда, обычно исполнял обязанности и коменданта форта. Случилось так, что в то время комендантом форта был брат одного бедного поселенца, которому мне посчастливилось оказать очень большие услуги и который был мне предан душой и телом...

Тут все присутствующие прервали д’Овернэ и в один голос назвали Тадэ.

— Вы угадали, господа, — ответил капитан. — Вы понимаете, что я без труда получил у него разрешение посетить негра в его камере. Как капитан ополчения я имел право входить в форт. Но все же, чтоб не вызвать подозрения у дяди, гнев которого еще нисколько не остыл, я отправился туда во время его послеобеденного отдыха. Все солдаты, кроме часовых, спали. Тадэ проводил меня до камеры, отпер дверь и удалился. Я вошел.

Негр сидел: высокий рост не позволял ему выпрямиться и встать на ноги. Он был не один; громадный дог встал и рыча пошел мне навстречу. «Раск!» — крикнул негр. Пес замолчал и снова улегся у ног своего хозяина, где грыз остатки какой-то скудной пищи.

Я был в военной форме; свет, падавший в тесную камеру из маленькой отдушины, был так слаб, что Пьеро не мог разглядеть, кто я.

— Я готов, — сказал он спокойно.

Произнеся эти слова, он привстал.

— Я готов, — повторил он еще раз.

— Я думал... — сказал я, удивленный свободой его движений, — я думал, что вас заковали в цепи.

От волнения голос мой дрожал, и узник, по-видимому, не узнал меня. Он толкнул ногой какие-то железные обломки, и они зазвенели.

— Вот мои цепи! Я их порвал.

Его голос, когда он произнес эти слова, прозвучал так, словно он хотел сказать: «Я не создан для цепей». Я продолжал:

— Мне не сказали, что вам оставили собаку.

— Я сам ее впустил.

Я удивлялся все больше. Дверь камеры была заперта снаружи тройным затвором. Отдушина была не шире шести дюймов и перегорожена двумя железными прутьями. Вероятно, разгадав мои мысли, он привстал, насколько ему позволил низкий свод камеры, без усилия вывернул громадную каменную плиту из-под отдушины и вытащил вделанные в нее железные прутья, открыв таким образом отверстие, в которое могли легко пройти два человека. Это отверстие выходило прямо на рощу из банановых и кокосовых пальм, покрывавшую холм, к которому примыкал форт.

Собака, увидев отверстие открытым, решила, что хозяин хочет, чтобы она вышла. Она встала, готовая выскочить, но, по его знаку, снова легла на прежнее место.

Я просто онемел от изумления. Вдруг солнечный луч осветил мое лицо. Узник разом выпрямился, точно он нечаянно наступил на змею, и ударился головой о каменный свод. Тысяча противоречивых чувств — странное выражение ненависти, доброжелательства и горестного удивления быстро промелькнуло в его глазах. Но он скоро овладел собой; через минуту лицо его снова стало холодным и спокойным, и он равнодушно встретил мой взгляд. Теперь он смотрел на меня как на незнакомого человека.

— Я могу прожить еще два дня без еды, — сказал он.

Я вздрогнул от ужаса; тут только я заметил страшную худобу несчастного.

Он продолжал:

— Моя собака ест только из моих рук; если б я не расширил отдушину, бедный Раск умер бы с голоду. Пусть уж лучше умру я, а не он, если мне все равно надо умереть.

— Нет, — вскричал я, — нет, вы не умрете от голода!

Он не понял меня.

— Конечно, — сказал он с горькой улыбкой, — я мог бы прожить еще два дня без еды; но я готов, господин офицер; пусть сегодня — это еще лучше, чем завтра; только не обижайте Раска.

Тут я понял, что значили слова «я готов». Обвиненный в преступлении, которое карается смертью, он подумал, что я пришел за ним, чтобы вести его на казнь; и этот человек, обладавший огромной силой, имевший столько возможностей для побега, говорит спокойно и кротко пришедшему за ним мальчику: «Я готов!»

— Не обижайте Раска! — повторил он еще раз.

Тут я не выдержал.

— Как, — вскричал я, — вы не только принимаете меня за своего палача, но сомневаетесь даже в моем сострадании к бедной, ни в чем неповинной собаке!

Он был тронут, голос его смягчился.

— Белый, — сказал он, протягивая мне руку, — прости меня, я люблю свою собаку; а твои, — прибавил он после короткого молчания, — сделали мне так много зла.

Я обнял его, пожал ему руку и постарался его разубедить.

— Разве вы меня не узнали? — спросил я его.

— Я знал, что ты белый, а для белых, даже самых добрых, черный так мало значит! К тому же ты тоже виноват передо мной.

— В чем же? — спросил я удивленный.

— Разве ты не спас меня два раза от смерти?

Я улыбнулся, услышав его странное обвинение. Он заметил это и продолжал с горечью:

— Да, я могу сердиться на тебя за это. Ты спас меня от крокодила и от плантатора; и, что еще хуже, — ты отнял у меня право ненавидеть тебя. Я так несчастлив!

Странность его мыслей и выражений уже почти не удивляла меня. Она как-то соответствовала всему его облику.

— Вы сделали для меня гораздо больше, чем я для вас, — ответил я ему. — Вы спасли жизнь моей невесты, Мари.

Он вздрогнул, как от электрического тока.

— Мария! — сказал он сдавленным голосом; голова его опустилась на судорожно сжавшиеся руки, широкая грудь вздымалась от тяжких вздохов.

Признаюсь, уснувшие было подозрения снова пробудились во мне, но без гнева и без ревности. Я был слишком близок к счастью, а он слишком близок к смерти, чтобы подобный соперник, если он и правда был моим соперником, мог возбудить во мне иные чувства, кроме участия и жалости.

Наконец он поднял голову.

— Иди, — сказал он, — не благодари меня!

Затем прибавил после короткой паузы:

— Но знай, что я не ниже тебя по рождению!

Эти слова, имевшие, по-видимому, какой-то скрытый смысл, сильно подстрекнули мое любопытство; я настойчиво упрашивал его рассказать мне, кто он и что ему пришлось пережить. Но он хранил угрюмое молчание.

Однако мое участие тронуло его; мое желание помочь ему и мои просьбы, казалось, победили в нем отвращение к жизни. Он вышел и принес несколько бананов и громадный кокосовый орех. Затем он снова закрыл отверстие в стене и принялся за еду. Разговаривая с ним, я заметил, что он свободно говорит по-французски и по-испански и обладает порядочным умственным развитием; он знал много испанских романсов и пел их с большим чувством. Этот человек был так необъясним для меня во многих отношениях, что чистота его языка вначале не удивляла меня. Я сделал новую попытку узнать у него его тайну; он замолчал. Наконец я покинул его, приказав моему верному Тадэ заботиться о нем и оказывать ему всяческое внимание.

## XIII

Я стал видеться с ним каждый день, в один и тот же час. Его дело тревожило меня; несмотря на мои просьбы, дядя упорствовал в своем желании наказать его. Я не скрывал от Пьеро своих опасений; он был равнодушен к моим словам.

Во время наших свиданий к нему прибегал Раск, с широким пальмовым листом, обвязанным вокруг шеи. Пьеро снимал лист, читал написанные на нем непонятные для меня знаки и тотчас рвал его. Я уже привык не задавать ему вопросов.

Как-то раз, когда я вошел к нему, он как будто меня не заметил. Стоя спиной к двери своей камеры, он задумчиво напевал испанскую песню: «Yo que soy contrabandista».[[26]](#footnote-26) Кончив петь, он быстро обернулся ко мне и воскликнул:

— Брат, обещай, если ты когда-нибудь усомнишься во мне, ты отбросишь все подозрения, как только услышишь, что я пою эту песню.

Он смотрел на меня с торжественным видом; я обещал исполнить его просьбу, сам хорошенько не понимая, что он подразумевает под словами «если ты когда-нибудь усомнишься во мне»... Он взял сохранившуюся у него скорлупу от большого кокосового ореха, который сорвал в день моего первого посещения, наполнил ее пальмовым вином, попросил меня пригубить, а затем осушил ее залпом. С этого дня он всегда называл меня «братом».

Между тем у меня начали появляться кое-какие надежды. Гнев дяди понемногу утих. Радость по поводу моей скорой свадьбы с его дочерью настроила его на более мирный лад. Мари умоляла его вместе со мной. Я каждый день старался убедить его, что Пьеро не думал его оскорбить, а хотел только помешать ему совершить поступок, быть может действительно слишком жестокий; что этот негр, смело вступивший в борьбу с крокодилом, спас Мари от верной смерти; что дядя обязан ему жизнью дочери, а я — невесты; что к тому же Пьеро — самый сильный из его рабов (теперь уж я не мечтал добыть ему свободу, дело шло о его жизни), что он может работать за десятерых и одной рукой приводить в движение валы сахарной мельницы. Теперь дядя спокойно выслушивал меня и даже намекал, что, быть может, не даст хода обвинению. Я пока ничего не говорил Пьеро о перемене в настроении дяди, желая обрадовать его вестью о полном освобождении, если мне удастся его выхлопотать. Меня особенно удивляло, почему он, думая, что скоро будет казнен и имея много возможностей убежать, не воспользовался ни одной из них. Я сказал ему об этом.

— Я должен остаться, — ответил он мне холодно, — иначе могут подумать, что я испугался.

## XIV

Как-то утром пришла ко мне Мари. Ее нежное личико светилось чувством еще более высоким, чем радость чистой любви. То было предвкушение доброго дела.

— Послушай, — сказала она, — через три дня будет двадцать второе августа, день нашей свадьбы. Мы скоро...

— Мари, — прервал я ее, — не говори «скоро», когда осталось еще целых три дня!

Она улыбнулась и покраснела.

— Не смущай меня, Леопольд, — продолжала она, — мне пришла в голову мысль, которая тебе понравится. Ты знаешь, что я вчера ездила в город с отцом, чтобы купить драгоценности к моей свадьбе. Я не могу сказать, что очень дорожу всеми этими уборами и бриллиантами, которые не сделают меня красивей в твоих глазах. Я отдала бы все жемчужины мира за один цветок из тех, что растоптал в беседке тот противный человек. Но не в этом дело. Отцу хочется осыпать меня всякими подарками, а я делаю вид, что мне это приятно, чтобы доставить ему удовольствие. Вчера нам показали баскину из китайского шелка в крупных цветах, лежащую в ларце из душистого дерева, и я долго рассматривала ее. Это необыкновенное платье и очень дорогое. Отец заметил, что оно заинтересовало меня. Вернувшись домой, я попросила у отца обещания сделать мне свадебный дар, по примеру древних рыцарей; ты знаешь, он любит, когда его сравнивают с древними рыцарями. Он поклялся мне честью, что исполнит мою просьбу, что бы я у него ни попросила. Он думает, что это баскина из китайского шелка; ничуть не бывало, — это жизнь Пьеро! Вот что будет мне свадебным подарком.

Я не мог удержаться и сжал этого ангела в объятиях. Слово дяди было свято; и когда Мари пошла к отцу просить обещанного, я побежал в форт Галифэ, чтобы сообщить Пьеро о его спасении, теперь уже несомненном.

— Брат! — вскричал я, вбегая к нему. — Брат, радуйся! Ты спасен. Мари попросила твою жизнь у своею отца вместо свадебного подарка!

Невольник задрожал.

— Мария! Свадьба! Моя жизнь! Какая связь между всем этим?

— Очень простая, — ответил я. — Мари, которую ты спас от смерти, выходит замуж.

— За кого? — воскликнул он; его блуждающий взгляд был страшен.

— Разве ты не знаешь? — ответил я тихо. — За меня.

Его свирепое лицо снова стало приветливым и спокойным.

— Ах, правда, за тебя! — сказал он. — А когда?

— Двадцать второго августа.

— Двадцать второго августа! Да ты с ума сошел! — воскликнул он с выражением ужаса и отчаяния.

Он запнулся. Я смотрел на него с недоумением. Немного помолчав, он крепко сжал мне руку.

— Брат, — сказал он, — ты столько сделал для меня, что я должен дать тебе совет. Верь мне, отправляйся в Кап и обвенчайся до двадцать второго августа.

Напрасно просил я его объяснить мне смысл этих загадочных слов.

— Прощай, — сказал он мне торжественно. — Я и так сказал тебе слишком много; но я ненавижу неблагодарность не меньше, чем вероломство.

Я ушел от него в смятении и тревоге, но вскоре их вытеснили мысли о моем близком счастье.

В тот же день дядя взял из суда свою жалобу. Я вернулся в форт, чтобы выпустить Пьеро из тюрьмы. Тадэ, зная, что он освобожден, вошел со мной в его камеру. Его там не было. Раск, оставшийся один, ласково подошел ко мне; на шее у него был привязан пальмовый лист; я снял его и прочитал на нем следующие слова. «Благодарю тебя, ты спас меня от смерти в третий раз. Брат, помни свое обещание». Внизу, вместо подписи, стояли слова песни: «Yo que soy contrabandista».

Тадэ был удивлен еще больше меня; он не знал тайны отдушины и вообразил, что негр превратился в собаку. Я предоставил ему думать что угодно, но велел молчать об этом.

Я хотел увести с собой Раска, но как только мы вышли из форта, он бросился в чащу и исчез.

## XV

Дядя был возмущен бегством невольника. Он приказал разыскивать его и написал губернатору, что отдает Пьеро в его полное распоряжение, если он будет пойман.

Наступило 22 августа. Мой брак с Мари был торжественно отпразднован в акюльской церкви. Каким счастливым был этот день, с которого начались все мои несчастья! Я был опьянен радостью, понять которую может лишь тот, кто сам ее испытал. Я совершенно забыл Пьеро и его зловещие намеки. Наконец настал и долгожданный вечер. Моя молодая жена удалилась в брачные покои, куда я не мог последовать за ней так скоро, как бы мне того хотелось. Я должен был прежде выполнить скучный, но неотложный долг. Как капитану ополчения, мне предстояло в этот вечер сделать обход постов Акюльского форта. Эта предосторожность была в то время необходима из-за волнений в колонии и нескольких небольших восстаний рабов, хотя и быстро подавленных, но повторившихся в июне, июле и даже в начале августа в поместьях Тибо и Лагосета, а особенно из-за враждебного настроения свободных мулатов, озлобленных недавней казнью мятежника Оже. Дядя первый напомнил мне о моем долге, и мне пришлось покориться необходимости. Я надел свой мундир и отправился. Проверив первые посты, я не обнаружил ничего тревожного; но около полуночи, когда я прогуливался, мечтая, вдоль батарей над заливом, я заметил на горизонте красноватое зарево; оно поднималось все выше и тянулось в сторону Лимонады и Сен-Луи дю Морен. Мы с солдатами вначале объяснили его случайным пожаром, но вскоре пламя так заметно увеличилось, а дым, подгоняемый ветром, до того сгустился, что я поспешил обратно в форт, чтобы поднять тревогу и выслать людей на помощь. Проходя мимо хижин наших невольников, я был удивлен царившим в них необыкновенным волнением. Большинство негров не спали и с большим оживлением разговаривали между собой. В своей непонятной для меня болтовне они часто повторяли странное имя «Бюг-Жаргаль», которое они произносили с большим уважением. Однако я все же разобрал несколько слов, из которых понял, что негры северной равнины восстали все как один и жгут усадьбы и плантации, расположенные по ту сторону Мыса. Проходя болотистым логом, я наткнулся на кучу топоров и кирок, спрятанных в камыше и манглевых зарослях. Сильно встревоженный, я тут же приказал акюльским ополченцам быть наготове и следить за невольниками; на время все успокоилось.

Между тем пожар, казалось, разгорался с каждой минутой и уже приближался к Лимбэ. Оттуда как будто доносился отдаленный гром артиллерии и ружейные залпы. Около двух часов ночи дядя, которого я разбудил, не в силах сдерживать свою тревогу, приказал мне оставить в Акюле часть ополчения под командой лейтенанта, а самому покинуть его; и пока моя бедная Мари спала или ждала меня, я, повинуясь дяде, который, как я уже говорил, был членом провинциального собрания, с остальными солдатами отправился в Кап.

Никогда не забуду, как выглядел этот город, когда мы подошли к нему. Пламя, пожиравшее все окружающие плантации, заливало его сумрачным светом, затемненным густыми клубами дыма, которые ветер гнал по улицам. Тучи искр, вылетавших из тлеющих остатков сахарного тростника, бешено кружились в воздухе и падали, точно густой снег, на крыши домов и на снасти стоявших на рейде кораблей, каждую минуту угрожая городу пожаром не менее губительным, чем тот, что свирепствовал в его окрестностях. Это было страшное и величественное зрелище; здесь бледные жители с опасностью для жизни еще боролись с бушующей стихией, стараясь отстоять свой кров — все, что у них осталось от прежнего богатства; а там — корабли, боясь той же участи, спешили воспользоваться благоприятным ветром, столь бедственным для несчастных колонистов, и уходили на всех парусах в море, озаренное кровавым отблеском пожарища.

## XVI

Оглушенный пушечной пальбой из фортов, криками бегущих людей и отдаленным грохотом рушащихся зданий, я не знал, в какую сторону вести своих солдат, когда встретил на плацу капитана желтых драгун, который согласился быть нашим проводником. Не буду останавливаться, господа, на описании картины горящих плантаций. Другие оставили много рассказов о первых бедствиях, обрушившихся на Кап, и мне хочется пропустить эти воспоминания, полные крови и огня. Скажу вам только, что, по слухам, восставшие рабы уже хозяйничали в Дондоне, Терье-Руж, городке Уанамент и даже на злосчастных плантациях Лимбэ, что очень тревожило меня из-за их близости к Акюлю.

Я поспешил явиться в дом губернатора де Бланшланда. Там все было в полном смятении, даже голова самого хозяина. Я спросил, каковы его приказания, и убеждал как можно скорей позаботиться о защите Акюля, который, как все считали, уже был под ударом. У губернатора я застал генерал-майора де Рувре, одного из крупнейших землевладельцев острова; подполковника де Тузара, командира капского полка; несколько членов колониального и провинциального собраний и кое-кого из наиболее видных плантаторов. В ту минуту, когда я вошел, в этом совете происходил шумный спор.

— Господин губернатор, — говорил один из членов провинциального собрания, — к сожалению, это именно так: бунтуют рабы, а не свободные мулаты; мы это предвидели и давно предсказывали.

— Да, предсказывали, а сами не верили своим словам, — едко возразил член колониального собрания, называвшего себя «генеральным». — Вы говорили это, чтобы поднять свой авторитет за наш счет; но вы были так далеки от мысли о возможности настоящего восстания рабов, что в 1789 году ваше собрание, при помощи разных интриг, подстроило знаменитый и смехотворный мятеж трех тысяч негров на капском холме, — мятеж, во время которого был убит всего-навсего один волонтер, да и то его же товарищами!

— А я повторяю вам, — настаивал «провинциал», — что мы лучше вас разбираемся в положении вещей. И это понятно. Мы оставались здесь, чтобы наблюдать за жизнью колонии, тогда как ваше собрание в полном составе отправилось во Францию[[27]](#footnote-27), в погоне за этой смешной овацией, которая закончилась выговором от национального правительства; ridiculus mus![[28]](#footnote-28)

Член колониального собрания ответил с горьким презрением:

— Наши сограждане переизбрали нас единогласно!

— Однако это вы, — возразил тот, — с вашими вечными крайностями, таскали по улицам голову того несчастного, что вошел в кафе без трехцветной кокарды, и повесили мулата Лакомба за его прошение, начинавшееся «необычными» словами: «Во имя отца и сына и святого духа»!

— Неправда! — вскричал член колониального собрания. — Это борьба принципов и привилегий, борьба «горбатых» с «кривобокими».

— Вы «независимый», сударь, я всегда это думал!

На этот упрек члена провинциального собрания его противник ответил с торжествующим видом:

— Вот вы и выдали, что сами принадлежите к «белым помпонам». Предоставляю вам нести всю ответственность за это признание!

Спор, наверно, зашел бы еще дальше, если бы не вмешался губернатор.

— Оставьте, господа! Что общего имеет все это с нависшей над нами опасностью? Посоветуйте, что мне делать, и перестаньте ссориться. Вот донесения, которые я получил. Восстание вспыхнуло сегодня в десять часов вечера в поместье Тюрпен. Рабы, под командой английского негра, по имени Букман[[29]](#footnote-29), увлекли за собой невольников из мастерских в поместьях Клеман, Тремес, Флавиль и Ноэ. Они подожгли все плантации и перебили колонистов с неслыханной жестокостью. Вы поймете весь ужас происходящего по одной подробности. Знаменем им служит поднятое на копье тело ребенка.

Слушатели губернатора содрогнулись.

— Вот что происходит вокруг города, — продолжал он, — в городе же царит полная неурядица. Многие жители Капа убили своих рабов; страх сделал их жестокими. Самые добрые, или самые храбрые, ограничились тем, что держат своих рабов под замком. «Мелкие белые»[[30]](#footnote-30) обвиняют в этих бедствиях свободных мулатов. И многие мулаты чуть не стали жертвами народного гнева. Я приказал дать им убежище в церкви, охраняемой батальоном солдат. Теперь, чтобы доказать свою непричастность к восстанию негров, мулаты просят меня выдать им оружие и поручить защиту какого-нибудь поста.

— Не делайте этого! — вскричал знакомый мне голос; он принадлежал плантатору, которого подозревали в том, что у него смешанная кровь; с ним-то я и дрался на дуэли. — Не делайте этого, господин губернатор. Не давайте оружия мулатам!

— Вы что же, не хотите драться? — резко спросил его другой колонист.

Тот сделал вид, что не слышит, и продолжал:

— Мулаты — наши злейшие враги. Они одни опасны для нас. Я согласен, что мы могли ожидать мятежа только с их стороны, а не со стороны рабов. Разве рабы годны на что-нибудь?

Этот жалкий человек надеялся, что своим выступлением против мулатов он окончательно отделит себя от них и разубедит белых, относивших его к этой презренной касте. Его расчет был слишком низок, он не удался. Об этом свидетельствовал общий ропот недовольства.

— Неправда, сударь, — ответил ему старый генерал де Рувре, — неправда, рабы способны на многое; у них сорок человек против троих наших; плохо бы нам пришлось, если бы мы могли послать против негров и мулатов только таких белых, как вы.

Плантатор закусил губу.

— А вы, господин генерал, — спросил губернатор, — что думаете вы о просьбе мулатов?

— Дайте им оружие, господин губернатор! — ответил генерал. — В бурю и рогожа — парус!

И, повернувшись к подозрительному колонисту, он закончил:

— Слышите, сударь? Ступайте вооружаться!

Посрамленный колонист удалился, едва сдерживая бешенство.

Между тем вопли ужаса, которые неслись из города, долетали иногда и в дом губернатора, напоминая участникам этого совещания о цели, заставившей их собраться. Г-н де Бланшланд передал адъютанту набросанный наспех карандашом приказ и обратился к собравшимся, которые в мрачном молчании прислушивались к этим пугающим крикам.

— Итак, мулаты будут вооружены, господа; но нам необходимо принять еще немало других мер.

— Надо созвать провинциальное собрание, — сказал тот из его членов, который говорил, когда я вошел.

— Провинциальное собрание? — подхватил его противник, член колониального собрания. — А что это такое — провинциальное собрание?

— Вы говорите так потому, что вы член колониального собрания, — возразил «белый помпон».

«Независимый» прервал его:

— Не знаю я ни «колониального», ни «провинциального» собрания. Есть только одно генеральное собрание, слышите, сударь?

— Ну, если так, то я скажу вам, — продолжал «белый помпон», — что существует только одно Национальное собрание, в Париже.

— Подумаешь, созвать провинциальное собрание! — повторял «независимый» со смехом. — Будто оно не было распущено, как только генеральное собрание решило, что здесь будут происходить его заседания.

Тут раздался громкий протест всех присутствующих, которым наскучили эти пустые пререкания.

— Господа депутаты, — закричал один плантатор, — вы тратите время на болтовню, а что будет с моим хлопчатником и кошенилью?

— И с моими четырьмястами тысяч кустов индиго в Лимбэ? — добавил другой.

— И с моими неграми, которые мне стоили по тридцать долларов за голову? — воскликнул капитан невольничьего судна.

— Каждая минута, которую вы теряете даром, — вмешался еще один колонист, — обходится мне по нашему тарифу не меньше десяти центнеров сахара, что составляет, если считать по семнадцать пиастров за центнер, сто семьдесят пиастров, или девятьсот тридцать ливров десять су французской монетой!

— Колониальное собрание, которое вы называете генеральным, действует как узурпатор! — продолжал первый спорщик, стараясь перекричать другие голоса. — Пусть оно сидит себе в Порт-о-Пренсе и сочиняет декреты для области величиной в два лье и сроком на два дня, а нас оставит в покое. Кап принадлежит северному провинциальному собранию, и только ему!

— Я считаю, — возражал «независимый», — что его превосходительство господин губернатор не имеет права созывать никакого другого собрания, кроме генерального собрания представителей колонии, под председательством господина де Кадюш!

— Да где же он, ваш председатель де Кадюш? — спрашивал «белый помпон». — Где ваше собрание? У вас еще не набралось и четырех человек, а наше все в сборе. Уж не хотите ли вы своей особой представлять целое собрание или целую колонию?

Этот спор двух депутатов, верных отголосков двух соперничающих собраний, снова вызвал вмешательство губернатора.

— Чего вы, наконец, хотите, господа, с вашими бесконечными собраниями — провинциальным, генеральным, колониальным, национальным? Разве вы поможете решениям настоящего совещания, если созовете еще три-четыре других?

— Черт побери! — вскричал громовым голосом генерал де Рувре, яростно стукнув кулаком по столу. — Проклятые болтуны! Я бы лучше согласился перекричать двадцатичетырехдюймовое орудие! Что нам за дело до этих собраний, которые грызутся за первенство и готовы броситься друг на друга, как две роты гренадеров, идущих в атаку. Ну что ж, созовите оба собрания, господин губернатор, а я сформирую из них два отряда и пошлю их против черных; вот тогда мы увидим, наделают ли их ружья столько треска, сколько их языки.

После этого резкого выпада он наклонился к своему соседу (это был я) и сказал вполголоса:

— Что прикажете делать губернатору, присланному в Сан-Доминго королем Франции и оказавшемуся между этими собраниями, которые оба считают себя верховной властью? Эти краснобаи и адвокаты портят все дело здесь, как и во Франции. Если б я имел честь состоять наместником короля, я выбросил бы за дверь весь этот сброд. Я сказал бы им: «Король царствует, а я управляю». Я послал бы ко всем чертям ответственность перед так называемыми народными представителями, пообещал бы дюжину крестов св. Людовика от имени его величества и выкинул бы всех бунтовщиков на остров Черепахи, где раньше жили пираты, такие же разбойники, как и эти. Запомните мои слова, молодой человек. «Философы» породили «филантропов», которые произвели на свет «негрофилов», а эти плодят пожирателей белых, называемых так, пока для них не подыскали какого-нибудь латинского или греческого названия. Наши мнимо либеральные идеи, которыми так упиваются во Франции, для тропиков просто яд. С неграми надо было обращаться осторожно, а не призывать их к немедленному освобождению. Все ужасы, которые вы видите сегодня в Сан-Доминго, родились в клубе «Массиак»[[31]](#footnote-31), и восстание рабов — это лишь отзвук падения Бастилии.

В то время как старый вояка излагал мне свои политические взгляды, хотя и узкие, но говорящие о его твердости и прямоте, бурные споры продолжались. Один плантатор, принадлежавший к небольшой кучке колонистов, охваченных неистовым революционным пылом, и требовавший, чтобы его называли гражданином генералом С\*\*\*, с тех пор как он руководил несколькими кровавыми расправами, воскликнул:

— Казни нужнее сражений! Народы ждут грозных примеров; заставим негров ужаснуться! Я усмирил июньское и июльское восстания, выставив на кольях головы пятидесяти невольников, вместо пальм, по обеим сторонам аллеи, ведущей к моему дому. Предлагаю всем присоединиться к моему предложению. Давайте защищать подступы к городу при помощи тех негров, которые у нас еще остались.

— Что вы! Какая неосторожность! — послышалось со всех сторон.

— Вы не поняли меня, господа, — возразил «гражданин генерал». — Мы окружим город цепью из негритянских голов, от форта Пиколе до мыса Караколь; тогда их мятежные товарищи не посмеют приблизиться к нам. В подобные минуты приходится идти на жертвы для общего дела. Я первый жертвую собой. У меня есть пятьсот не восставших рабов: я их отдаю!

Все содрогнулись от ужаса, услышав это отвратительное предложение.

— Какая гнусность! Какая подлость! — послышалось со всех сторон.

— Подобные меры и погубили все дело! — сказал другой колонист. — Если бы вы не поторопились казнить всех восставших в июне, июле и августе, вы могли бы поймать нити заговора, перерубленные топором палача.

Гражданин С\*\*\* несколько минут хранил недовольное молчание, потом пробормотал сквозь зубы:

— Мне кажется, однако, что я вне подозрений. Я связан со многими негрофилами; я переписываюсь с Бриссо и Прюно де Пом-Гуж во Франции; с Гансом Слоан в Англии; Мегоу в Америке; Пецлем в Германии; Оливариусом в Дании; Вадстремом в Швеции; Петером Паулюсом в Голландии; Авенданьо в Испании и аббатом Пьетро Тамбурини в Италии!

По мере того как он продвигался в этом перечне негрофилов, голос его все усиливался. Он закончил, воскликнув:

— Но здесь нет философов!

Губернатор в третий раз попросил, чтобы каждый высказал свое мнение.

— Господин губернатор, — раздался чей-то голос, — вот мой совет: погрузимся все на корабль «Леопард», стоящий на рейде.

— Назначим награду за голову Букмана, — предложил другой.

— Сообщим обо всем губернатору Ямайки, — сказал третий.

— Конечно, чтобы он опять прислал нам смехотворное подкрепление в пятьсот ружей, — подхватил депутат провинциального собрания. — Господин губернатор, пошлите вестовое судно во Францию, и будем ждать!

— Ждать! Ждать! — решительно перебил их г-н де Рувре. — А негры тоже будут ждать? А пламя, уже окружившее этот город, тоже будет ждать? Господин де Тузар, велите бить тревогу, берите пушки и выступайте с вашими гренадерами и стрелками против главных сил мятежников. Господин губернатор, прикажите разбить лагери в восточных районах; расставьте посты в Тру и Вальере, а я беру на себя защиту равнины у форта Дофин. Я построю там укрепления; дед мой, полковник нормандского полка, служил под начальством маршала Вобана; сам я изучал Фолара и Безу и имею некоторый опыт обороны страны. К тому же равнина у форта Дофин, которая с одной стороны омывается морем, а с другой примыкает к испанской границе, представляет собой как бы полуостров, что послужит ей естественной защитой; полуостров Моль имеет то же преимущество. Воспользуемся всем этим и будем действовать!

Энергичная и убедительная речь старого вояки разом прекратила все споры и разногласия. Генерал был совершенно прав. Сознание собственного блага заставило всех присоединиться к г-ну Рувре. Губернатор с благодарностью пожал ему руку, давая понять храброму генералу, что понимает, как велика его помощь и как ценны его советы, хотя они и были даны в виде приказов, а все колонисты потребовали немедленного выполнения предложенных им мер.

Только два депутата враждующих собраний, казалось, были несогласны с общим мнением и, сидя в своем углу, бормотали себе под нос: «захват исполнительной власти», «необдуманное решение», «ответственность».

Я воспользовался этой минутой, чтоб получить от г-на де Бланшланд распоряжений, которых так нетерпеливо дожидался; затем я вышел, чтобы собрать свой отряд и немедленно вернуться с ним в Акюль, несмотря на усталость, которую чувствовали все, кроме меня.

## XVII

Начинало светать. Я вышел на плац и стал будить своих солдат, спавших на шинелях вперемежку с желтыми и красными драгунами и беженцами из долины, среди мычащего и блеющего скота и всевозможных тюков и вещей, наваленных тут сбежавшимися в город окрестными колонистами.

Я постепенно собирал свой отряд среди этой сумятицы; вдруг я увидел, что ко мне во весь опор мчится желтый драгун, весь в поту и в пыли. Я бросился ему навстречу и из немногих слов, которые он произнес прерывающимся голосом, с ужасом понял, что мои опасения сбылись: восстание охватило Акюльскую равнину, и негры начали осаду форта Галифэ, где заперлись ополченцы и колонисты. Надо вам сказать, что укрепления форта Галифэ отнюдь не делали его крепостью; в Сан-Доминго каждый земляной вал называли «фортом».

Значит, нельзя было терять ни минуты. Я посадил в седло всех солдат, для которых мне удалось раздобыть лошадей, и, следуя за драгуном, мы к десяти часам утра доскакали до владений дяди.

Я едва взглянул на громадные плантации, которые превратились в море огня, катившее по долине огромные валы дыма и бросавшее вверх целые стволы деревьев, горящие ярким пламенем; ветер подхватывал их, точно искры. Ужасный треск, скрип и гул, казалось, вторили отдаленному вою негров, который уже доносился до нас, хотя мы еще не могли их видеть. Я был целиком поглощен одной лишь мыслью, и гибель всех предназначенных мне богатств не могла отвлечь меня; эта мысль была — спасение Мари. Спасти Мари — что мне до остального! Я знал, что она в форту, и молил бога только о том, чтобы поспеть вовремя. Одна эта надежда поддерживала меня в моей тревоге и придавала мне силу и храбрость льва.

Наконец, за поворотом дороги, мы увидели форт Галифэ. Трехцветное знамя еще развевалось над ним, и стены его были опоясаны плотным огнем ружейной пальбы. Я вскрикнул от радости. «В галоп! Пришпорьте коней! Отпустите повода!» — крикнул я своим товарищам.

И мы понеслись с удвоенной скоростью через поле к форту, рядом с которым виднелся дом моего дяди, пока уцелевший, но с выбитыми окнами и дверями, весь в красных отблесках пожара; огонь не коснулся его, так как ветер дул с моря и он стоял в стороне от плантаций.

Множество негров, устроивших засаду в этом доме, виднелись во всех окнах и даже на крыше; копья, кирки, топоры блестели при свете факелов, кругом стоял гул от ружейных выстрелов; негры не переставая палили по форту, в то время как толпа их товарищей лезла на осажденные стены, падала, отступала и снова карабкалась на них по приставным лестницам. Поток негров, все время отбрасываемый и вновь появляющийся на серых стенах, был издали похож на полчище муравьев, пытающихся взобраться на щит громадной черепахи, — казалось, это медлительное животное время от времени встряхивается и скидывает их с себя.

Наконец мы доскакали до первого вала, окружавшего форт. Я не спускал глаз с поднятого над ним флага и подбадривал своих солдат, напоминая им об их семьях, которые, как и моя, заперлись за этими стенами, о тех, кого мы должны были спасти. Солдаты отвечали мне единодушным криком одобрения, и я построил свой маленький отряд в колонну, готовясь дать сигнал к атаке на осаждающую форт толпу.

В это мгновение из-за ограды форта раздался ужасный крик; крутящийся столб дыма охватил всю крепость, его густые клубы на несколько минут заволокли стены, за которыми слышался гул, похожий на клокотание пламени в большой печи, а когда дым рассеялся, мы увидели над фортом Галифэ красный флаг. Все было кончено!

## XVIII

Не могу вам передать, что сделалось со мной при виде этого ужасного зрелища. Форт был взят, его защитники перебиты, двадцать семей зарезаны, но, признаюсь, к стыду своему, все эти бедствия в ту минуту мало трогали меня. Я потерял Мари! Потерял через несколько часов после того, как она стала моей навсегда! Потерял по собственной вине, ибо не покинь я ее прошлой ночью, чтобы ехать в Кап по приказанию дяди, я мог бы по крайней мере защитить ее или умереть подле нее и вместе с ней, что все-таки не было бы для нас разлукой! Эти мучительные мысли доводили мое отчаяние до безумия. Моя скорбь слилась с угрызениями совести.

Тут мои потрясенные товарищи яростно закричали: «Мщение!» С саблями в зубах, с пистолетами в руках, мы ринулись в гущу победивших мятежников. Хотя негры были гораздо многочисленнее нас, они бросились бежать при нашем приближении. Все же мы ясно видели, как они справа и слева, впереди и позади нас приканчивали белых и торопливо поджигали форт. Наше бешенство еще усилилось при виде такой низости.

У подземного выхода из форта передо мной появился Тадэ, он был весь изранен.

— Господин капитан, — сказал он, — ваш Пьеро настоящий колдун, или «оби», как говорят эти проклятые негры, а вернее — просто дьявол! Мы крепко держались; вы уже подходили, и мы были бы спасены, как вдруг он пробрался в форт, уж не знаю как, — и видите, что вышло! А ваш дядюшка, его семья и госпожа...

— Мари! — крикнул я, прерывая его. — Где Мари?

В эту минуту из-за горящей изгороди выбежал высокий негр; он нес на руках молодую женщину, которая кричала и отбивалась. Молодая женщина была Мари; негр был Пьеро.

— Предатель! — крикнул я ему.

Я направил на него пистолет; но один из мятежников бросился навстречу пуле и упал мертвый. Пьеро повернулся ко мне и как будто крикнул мне несколько слов; затем он скрылся со своей добычей в зарослях горящего тростника. В ту же минуту за ним промчался громадный пес, держа в пасти колыбельку, в которой лежал младший ребенок дяди. Я узнал и пса — это был Раск. Вне себя от ярости, я выстрелил в него из второго пистолета, но промахнулся.

Я бросился как безумный вслед за ними; но два ночных похода, много часов, проведенных без отдыха и без пищи, страх за Мари, внезапный переход от полного счастья к глубочайшему отчаянию — все эти душевные потрясения надломили мои силы еще больше, чем физическая усталость. Сделав несколько шагов, я зашатался; в глазах у меня помутилось, и я упал без чувств.

## XIX

Я очнулся в разгромленном доме дяди, на руках у верного Тадэ. Он с беспокойством смотрел на меня.

— Победа! — закричал он, как только почувствовал, что мой пульс забился под его рукой. — Победа! Негры бегут, а капитан ожил!

Я прервал его радостный крик все тем же вопросом:

— Где Мари?

Я еще не совсем пришел в себя; у меня осталось лишь ощущение, а не ясное сознание моего несчастия. Тадэ опустил голову. Тогда память вернулась ко мне; я сразу вспомнил мою ужасную брачную ночь, и образ высокого негра, уносящего в объятиях Мари сквозь море огня, встал передо мной, точно адское видение. При вспышке зловещего света, который залил всю колонию и показал белым, каких врагов они имели в лице своих невольников, я вдруг увидел, что добрый, великодушный и преданный Пьеро, кому я трижды спасал жизнь, — неблагодарное чудовище и мой соперник. Похищение моей жены в первую же ночь после нашей свадьбы доказало мне то, что я раньше лишь подозревал, и я теперь был твердо убежден, что певец у беседки был не кто иной, как гнусный похититель Мари. Сколько перемен за такое короткое время!

Тадэ рассказал мне, что он тщетно пытался догнать Пьеро и его собаку; что негры отступили, хотя их было очень много и они легко могли бы уничтожить мой маленький отряд; что пожар в наших владениях продолжается, и нет никакой возможности его остановить.

Я спросил его, известно ли, что стало с моим дядей, в чью спальню меня перенесли. Тадэ молча взял меня за руку и, подведя к алькову, отдернул полог.

Несчастный дядя лежал мертвый на окровавленной постели, с кинжалом, глубоко вонзенным в его сердце. По спокойному выражению его лица было видно, что он убит во сне. Подстилка карлика Хабибры, который обычно спал у его ног, была тоже запачкана кровью, такие же пятна были видны и на пестрой куртке бедного шута, валявшейся на полу недалеко от кровати.

Я не сомневался, что шут пал жертвой своей всем известной привязанности к дяде и был убит товарищами, быть может защищая своего хозяина. Я горько упрекал себя за пристрастность, благодаря которой так неправильно судил о характере Хабибры и Пьеро; к слезам, вызванным у меня преждевременной смертью дяди, добавились сожаления о его шуте. Я приказал отыскать тело Хабибры, но его не нашли. Решив, что негры унесли карлика и бросили его в огонь, я велел, чтобы во время панихиды по моему дяде в молитвах поминали и верного Хабибру.

## XX

Форт Галифэ был разрушен, от наших жилищ ничего не осталось; дальнейшее пребывание среди этих развалин было бессмысленно и невозможно. В тот же вечер мы вернулись в Кап.

Здесь я свалился в жестокой горячке. Усилие, которое я сделал над собой, чтоб преодолеть отчаяние, было слишком велико. Чрезмерно натянутая пружина лопнула. Я лежал без памяти, в бреду. Обманутые надежды, оскверненная любовь, предательство друга, разбитое будущее и больше всего мучительная ревность омрачили мой рассудок. Мне казалось, что в жилах у меня струится пламя; голова моя раскалывалась, в сердце клокотало бешенство. Я представлял себе Мари во власти другого, во власти ее господина, ее раба Пьеро! Мне рассказывали потом, что я вскакивал с кровати, и шесть человек с трудом удерживали меня, чтобы не дать мне разбить голову о стену. Зачем не умер я тогда!

Но кризис миновал. Уход врачей, заботы Тадэ и невероятная жизненная сила, присущая молодости, победили злой недуг, который мог принести мне благодетельную смерть. Через десять дней я выздоровел и не жалел об этом. Я был рад, что могу прожить еще некоторое время, чтобы отомстить.

Едва оправившись после болезни, я пошел к г-ну де Бланшланд, с просьбой о назначении. Он хотел поручить мне охрану какого-нибудь поста, но я умолял его зачислить меня добровольцем в один из летучих отрядов, которые он время от времени посылал против мятежников, чтобы очистить от них окрестности.

Кап был наскоро укреплен. Восстание принимало угрожающие размеры. Среди негров Порт-о-Пренса начались волнения; Биасу командовал невольниками из Лимбэ, Лондона и Акюля; Жан-Франсуа[[32]](#footnote-32) провозгласил себя главнокомандующим повстанцев долины Марибару; Букман, вскоре прославившийся трагической гибелью, бродил со своей шайкой по берегам реки Лимонады; наконец банды невольников Красной Горы избрали своим вождем какого-то негра, по имени Бюг-Жаргаль.

Характер этого вождя, если верить слухам, странным образом отличался от жестокого нрава остальных. В то время как Букман и Биасу придумывали тысячи казней для пленников, попадавших им в руки, Бюг-Жаргаль старался дать им возможность покинуть остров. Первые заключали сделки с испанскими судами, плавающими у берегов, заранее продавая им имущество несчастных жителей, которых они вынуждали к бегству; Бюг-Жаргаль потопил многих из этих пиратов. Г-н Кола де Менье и восемь видных колонистов по его приказу были сняты с колеса для пыток, к которому велел их привязать Букман. Приводили тысячи случаев, свидетельствующих о его великодушии, но было бы слишком долго их вам перечислять.

Моя надежда отомстить, казалось, сбудется еще не скоро. Я больше ничего не слышал о Пьеро. Мятежники под командой Биасу продолжали беспокоить Кап. Один раз они даже попытались занять холм, господствующий над городом, и крепостная пушка лишь с трудом отогнала их. Губернатор решил оттеснить их во внутреннюю часть острова. Ополченцы Акюля, Лимбэ, Уанамента и Марибару, вместе с капским полком и грозными отрядами желтых и красных драгун, составляли нашу действующую армию. Ополченцы Дондона и Картье-Дофена, подкрепленные ротой добровольцев, под командой негоцианта Понсиньона, составляли городской гарнизон.

Губернатор хотел прежде всего отделаться от Бюг-Жаргаля, наступление которого тревожило его. Он послал против него ополченцев из Уанамента и один капский батальон. Через два дня этот отряд вернулся, разбитый наголову. Губернатор упорствовал в желании сломить Бюг-Жаргаля; он снова отправил против него тот же отряд, дав ему в подкрепление полсотни желтых драгун и четыреста ополченцев. Со второй армией Бюг-Жаргаль расправился еще решительней, чем с первой. Тадэ, участвовавший в этом походе, был взбешен и, вернувшись, поклялся отомстить Бюг-Жаргалю.

Глаза д’Овернэ наполнились слезами; он скрестил руки на груди и на несколько минут, казалось, погрузился в горестные думы. Затем он продолжал.

## XXI

Мы получили известие, что Бюг-Жаргаль покинул Красную Гору и повел свое войско горными переходами на соединение с Биасу. Губернатор подскочил от радости. «Теперь он наш!» — воскликнул он, потирая руки. На другой день колониальная армия выступила из Капа. В одном лье от города мы увидели мятежников, которые при нашем приближении поспешно покинули Порт-Марго и форт Галифэ, где они оставили сторожевой пост, защищенный крупными орудиями, снятыми с береговых батарей; все их отряды отступили к горам. Губернатор торжествовал. Мы продолжали двигаться вперед. Каждый из нас, проходя по этим бесплодным и опустошенным равнинам, хотел бросить последний взгляд на свои поля, свое жилище, свои богатства; но часто мы даже не могли узнать место, где они прежде были.

Иногда дорогу нам преграждали пожары, ибо с обработанных полей пламя перекидывалось на леса и саванны. В этой стране, с ее девственной почвой и буйной растительностью, лесной пожар сопровождается странными явлениями. Еще издалека, часто даже до того, как его можно увидеть, слышно, как он ревет и грохочет, подобно чудовищному водопаду. Стволы деревьев раскалываются, ветви трещат, корни в земле лопаются, высокая трава шипит, озера и болота, окруженные лесом, вскипают, пламя гудит, со свистом пожирая воздух, — и весь этот гул то затихает, то усиливается вместе с пожаром. Иногда вы видите, как зеленый пояс из еще не тронутых огнем деревьев долго окружает пылающий очаг. Внезапно огненный язык пробивается сбоку, сквозь эту свежую ограду, голубоватая огненная змейка быстро скользит по траве между стволами, и в одно мгновение лесная опушка исчезает за зыблющейся золотой завесой; все вспыхивает сразу. Только время от времени густая пелена дыма под порывом ветра опускается вниз и окутывает пламя. Дым клубится и растекается, взлетает и опускается, рассеивается и вновь сгущается, становясь вдруг совсем черным; затем края его внезапно разрывает огненная бахрома, снова слышится оглушительный рев, бахрома бледнеет, дым поднимается и, улетая, долго осыпает землю дождем из раскаленного пепла.

## XXII

На третий день вечером мы вышли к ущелью Большой реки. Все считали, что черные находятся в горах, в двадцати лье отсюда.

Мы разбили лагерь на небольшом холме, по-видимому служившем мятежникам для той же цели, судя по тому, что он был весь истоптан. Эта позиция была не из лучших; но, по правде сказать, мы были тогда совсем спокойны. Над холмом со всех сторон вздымались высокие скалистые горы, заросшие густым лесом. Неприступность их отвесных склонов была причиной странного названия «Усмиритель мулатов», данного этому месту. Позади лагеря протекала Большая река; сдавленная между двумя откосами, она была в этом месте узка и глубока. Ее обрывистые берега щетинились густым кустарником, непроницаемым для взгляда. Во многих местах река исчезала под гирляндами лиан, которые цеплялись за ветви растущих среди кустарника кленов, усеянных красными цветами, перебрасывали свои плети с одного берега на другой и причудливо сплетались, образуя над водой широкие зеленые навесы. Тому, кто смотрел на них с вершин соседних утесов, казалось, что он видит лужайки, еще влажные от росы. Лишь глухой плеск воды да быстрый чирок, неожиданно вспорхнувший и раздвинувший эту цветущую завесу, обнаруживали течение реки.

Вскоре солнце перестало золотить острые вершины далеких Дондонских гор; постепенно мрак окутал лагерь, и тишина нарушалась лишь криком журавлей да мерным шагом часовых.

Вдруг у нас над головой раздались грозные звуки песен «Уа-Насэ» и «Лагерь в Большой долине»; высоко на скалах запылали пальмы, акомы и кедры, и при зловещем свете пожара мы увидели на ближних вершинах толпы негров и мулатов, медные лица которых казались красными в отблесках яркого пламени. Это были банды Биасу.

Нам грозила смертельная опасность. Наши начальники, спавшие крепким сном, сразу вскочили и бросились поднимать своих солдат; барабанщик бил тревогу, трубач играл сбор; солдаты торопливо строились в ряды, а мятежники, вместо того чтобы воспользоваться нашим смятением, стояли на месте, смотрели на нас и пели «Уа-Насэ».

Громадный негр появился один на самом высоком из окружавших Большую реку утесов; огненное перо трепетало над его головой; в правой руке он держал топор, в левой — красное знамя; я узнал Пьеро! Если б у меня под рукой оказался карабин, быть может, не помня себя от бешенства, я совершил бы низкий поступок. Негр повторил припев «Уа-Насэ», закрепил знамя на вершине утеса, метнул свой топор в гущу наших солдат и прыгнул в реку. Горькое сожаление поднялось во мне при мысли, что теперь он умрет не от моей руки.

Тут мятежники начали скатывать на наши ряды громадные каменные глыбы; пули и стрелы градом осыпали наш холм. Солдаты, не имея возможности схватиться с нападающими, в бессильной ярости погибали, раздавленные обломками скал, пробитые пулями и пронзенные стрелами. Ужасное смятение охватило наше войско. Вдруг страшный шум послышался как будто из самой глубины Большой реки. Там происходила необыкновенная сцена. Желтые драгуны, жестоко пострадавшие от огромных камней, которые скатывали на них сверху мятежники, решили укрыться от них под упругими сводами из лиан, нависших над рекой. Тадэ первый придумал этот выход, кстати сказать, очень остроумный...

Здесь рассказчик был внезапно прерван.

## XXIII

Уже больше четверти часа назад сержант Тадэ, с подвязанной правой рукой, проскользнул никем не замеченный в угол палатки, где только жестами выражал, какое горячее участие он принимает в рассказе капитана; но в эту минуту, считая, что уважение к д’Овернэ не позволяет ему принять прямую похвалу, не высказав благодарности, он пробормотал смущенно:

— Вы слишком добры, господин капитан...

В ответ раздался дружный взрыв смеха. Д’Овернэ обернулся и крикнул строго:

— Как! Вы здесь, Тадэ! А ваша рука?

От этого непривычно строгого окрика лицо старого сержанта омрачилось; он пошатнулся и откинул голову, точно стараясь удержать слезы, наполнившие его глаза.

— Я не думал, — сказал он, наконец, тихим голосом, — я никогда бы не подумал, что господин капитан может так рассердиться на своего старого сержанта, что станет говорить ему «вы».

Капитан стремительно вскочил.

— Прости меня, дружище, прости, я не подумал, что сказал; ты больше не сердишься, Тад?

Слезы брызнули из глаз Тадэ.

— Это в третий раз, — пробормотал он, — но теперь уж от радости.

Мир был заключен. Последовало короткое молчание.

— Но скажи, Тад, — ласково спросил капитан, — зачем ты ушел из лазарета и пришел сюда?

— Потому что, с вашего позволения, я хотел спросить вас, господин капитан, надо ли завтра седлать чепрак с галунами на вашего коня.

Анри рассмеялся.

— Вы бы лучше спросили у полкового лекаря, Тадэ, не надо ли завтра положить две унции корпии на вашу больную руку.

— Или узнали бы, можно ли вам выпить немного вина, чтоб освежиться, — подхватил Паскаль. — А пока выпейте водки, это будет вам только на пользу. Вот попробуйте-ка, сержант!

Тадэ подошел, отвесил всем почтительный поклон, извинился, что берет стакан левой рукой, и осушил его за здоровье всех присутствующих. Он оживился.

— Вы остановились на том, господин капитан, на том, как... Да, верно, это я предложил спуститься под лианы, чтоб добрых христиан не убивали камнями. Наш офицер не умел плавать и боялся утонуть, что вполне естественно, поэтому он никак со мной не соглашался, пока не увидел, с вашего позволения, господа, как громадный камень, который чуть не раздавил его, полетел в реку, да застрял в лианах, а в воду не попал. «Уж лучше умереть смертью египетского фараона, — сказал он тогда, — чем смертью святого Этьена. Мы не святые, а фараон был тоже солдат, как и мы». Вот видите, хоть мой офицер и был ученый, а согласился с моим предложением, но при условии, что я первый попытаюсь выполнить его. Я иду. Спускаюсь с берега, прыгаю под навес, держась за лианы, и вдруг, представьте, господин капитан, я чувствую, что кто-то хватает меня за ногу; я отбиваюсь, зову на помощь, на меня сыплются сабельные удары; тут наши драгуны, злые как черти, сломя голову бросаются под лианы. Оказалось, что там засели негры Красной Горы; они незаметно пробрались туда, как видно для того, чтобы в нужную минуту обрушиться на нас с тыла и захватить, как в мешок. Вот уж была бы плохая минута для рыбной ловли! Все дрались, кричали, ругались. Они были голые и потому проворнее нас; зато наши удары были верней. Мы плыли, гребя одной рукой, а дрались другой, как полагается в таких случаях. Те, кто не умели плавать, держались одной рукой за лианы, — ловко, господин капитан? — а негры тащили их за ноги. В самой гуще свалки я увидел громадного негра, который отбивался, как дьявол, от восьми или десяти моих товарищей; я подплыл к ним и узнал Пьеро, или Бюга... Но это откроется позже, не правда ли, господин капитан? Я узнал Пьеро. После падения форта мы были с ним в ссоре; я схватил его за горло; он хотел было отделаться от меня ударом кинжала, как вдруг взглянул мне в лицо и сдался, вместо того чтобы меня убить; это было большое несчастье, господин капитан, потому что, не сдайся он тогда... Но об этом узнается после. Как только негры увидели, что он взят в плен, они ринулись на нас, чтобы его отбить, а ополченцы тоже бросились в воду, к нам на помощь. Тут Пьеро, должно быть увидев, что все негры будут перебиты, сказал им несколько слов на каком-то тарабарском языке, после чего они сразу кинулись бежать. Они нырнули в воду и пропали, будто их и не бывало. Эта подводная битва, пожалуй, понравилась бы мне и даже позабавила б меня, если бы мне не отхватили пальца, если бы я не подмочил десятка патронов и если бы... Бедняга! Но, видно, такая уж была его судьба, господин капитан!

И сержант, почтительно дотронувшись левой рукой до кокарды на своей фуражке, указал на небо с торжественным видом.

Д’Овернэ, казалось, был сильно взволнован.

— Да, — сказал он, — ты прав, старина Тадэ, то была роковая ночь.

Он снова погрузился бы в свойственную ему глубокую задумчивость, если бы не настойчивые просьбы всех собравшихся. Он продолжал.

## XXIV

Пока сцена, описанная Тадэ... (Тадэ с гордым видом уселся позади капитана), пока сцена, описанная Тадэ, происходила за холмом, мне удалось с несколькими солдатами вскарабкаться, цепляясь за кусты, на скалу, прозванную «Павлиний пик» из-за радужной окраски, которую придавала ей блестевшая на солнце слюда, вкрапленная в ее поверхность. Этот пик был на одном уровне с позициями негров. Как только мы проложили туда дорогу, вершина его быстро была занята солдатами, и мы открыли сильный огонь. Негры, вооруженные хуже нас, не могли отвечать нам тем же и стали терять мужество; мы удвоили свой пыл, и вскоре мятежники покинули ближайшие скалы, сбросив перед этим трупы своих убитых товарищей на поредевшие ряды нашей армии, еще стоявшие в боевом порядке на холме. Тогда мы срубили несколько громадных диких хлопчатников, из каких первые жители острова делали пироги на сотню гребцов, и связали их веревками и пальмовыми листьями. При помощи этого самодельного моста мы перебрались на покинутые неграми вершины, и таким образом часть нашего войска оказалась на очень выгодной позиции. Увидев это, мятежники окончательно пали духом. Мы продолжали стрелять. Вдруг в войске Биасу послышались жалобные вопли, среди которых то и дело повторялось имя Бюг-Жаргаль. Мятежников охватила паника. Несколько негров Красной Горы появились на утесе, где развевалось алое знамя; они простерлись перед ним, затем сняли его с древка и кинулись с ним в пучину Большой реки. Это, должно быть, означало, что их начальник убит или взят в плен.

Тут мы так осмелели, что я решил прогнать оставшихся на скалах мятежников при помощи холодного оружия. Я велел перекинуть мост из стволов с нашей вершины на ближайшую скалу и бросился первым в гущу чернокожих. Мои солдаты побежали было за мной, но один из мятежников ударом топора сбил наш мост, который разлетелся на части. Его обломки, со страшным грохотом ударяясь о скалы, свалились в пропасть.

Я обернулся; в ту же минуту я почувствовал, что меня схватили шесть или семь негров, которые тотчас обезоружили меня. Я защищался, как лев; но они связали меня веревками из древесной коры, не обращая никакого внимания на град пуль, которыми их осыпали мои солдаты.

Мое отчаяние уменьшилось лишь когда я услышал победные крики, вскоре зазвучавшие вокруг меня; тут я увидел, что негры и мулаты бегут врассыпную, карабкаясь на самые отвесные вершины с жалобными воплями. Мои стражи последовали за ними; самый сильный из всех взвалил меня на спину и побежал в лес, перескакивая с камня на камень с ловкостью серны. Отблески пожара вскоре перестали освещать ему путь; но ему было довольно и слабого лунного сияния; он лишь немного замедлил шаг.

## XXV

Мы долго пробирались сквозь чащу, пересекли много горных потоков и, наконец, вышли в необыкновенно дикую долину, расположенную высоко в горах. Это место было мне совершенно незнакомо.

Долина эта находилась в самом сердце гор, в местности, называемой в Сан-Доминго «Двойным хребтом». Это была большая зеленая саванна, вокруг которой стеной стояли голые скалы, вся усеянная рощицами из сосен, бакаутов и капустных пальм. Резкий холод, постоянно царящий в этой части острова, хотя там и не бывает морозов, еще усиливался благодаря предрассветной свежести ночи. Высокие белые вершины окружающих гор начали розоветь под первыми лучами солнца, но долина, погруженная еще в глубокую тьму, освещалась только множеством зажженных неграми костров; здесь был их сборный пункт. Разрозненные части их войска в беспорядке стекались сюда. Каждую минуту появлялись отдельные кучки растерянных негров и мулатов, испускавших крики отчаяния и ярости. Все новые и новые огни загорались кругом, сверкая в темной саванне, словно глаза тигра, и указывали на то, что лагерь разрастается.

Негр, взявший меня в плен, сбросил меня у подножия дуба, откуда я безучастно наблюдал эту фантастическую картину. Он привязал меня за пояс к стволу дерева, под которым я стоял, затянул покрепче двойные узлы, так что я не мог пошевелиться, надвинул мне на голову свой красный шерстяной колпак, должно быть, чтоб утвердить этим свое право собственности, и, полагая, что теперь я не смогу ни убежать, ни быть отнятым у него другими, собрался уходить. Тут я решил заговорить с ним и спросил его на местном креольском наречии, какого он отряда: из Дондона или с Красной Горы. Он остановился и ответил мне с гордостью: «Красная Гора!» Тогда мне в голову пришла новая мысль. Я не раз слышал о великодушии вождя этой банды — Бюг-Жаргаля, и хотя без сожаления думал о смерти, которая избавила бы меня от всех моих несчастий, но мысль об истязаниях, предстоящих мне, если я попаду в лапы Биасу, внушала мне невольный страх. Я желал смерти, но без пыток. Быть может, это была слабость, но мне кажется, что в подобные минуты наша человеческая природа всегда возмущается. И вот я подумал, что если бы мне удалось ускользнуть от Биасу, быть может, Бюг-Жаргаль дал бы мне умереть без мучений, смертью солдата. Я попросил этого негра с Красной Горы отвести меня к его вождю Бюг-Жаргалю. Он вздрогнул. «Бюг-Жаргаль! — воскликнул он, с отчаянием ударив себя по лбу; но это отчаяние быстро сменилось бешенством, и он закричал, грозя мне кулаком: — Биасу! Биасу!» Назвав это страшное имя, он ушел.

Ярость и горе негра напомнили мне ту сцену во время битвы, из которой мы заключили, что вождь банды с Красной Горы взят в плен или убит. Теперь я в этом больше не сомневался и приготовился к мести Биасу, которою, видимо, угрожал мне негр.

## XXVI

Долина все еще была окутана мраком, а количество негров и число огней непрерывно возрастало. Недалеко от меня группа негритянок разожгла большой костер. По множеству браслетов из синих, красных и фиолетовых стеклянных бус, блестевших на их руках и ногах, по тяжелым кольцам, вдетым в уши, по перстням, украшавшим все пальцы на руках и на ногах, по амулетам, висевшим у них на груди, по особым «магическим» ожерельям на шее, по передникам из пестрых перьев — единственной одежде, прикрывавшей их наготу, а больше всего по их ритмическим выкрикам и свирепым, блуждающим взглядам я понял, что это «гриотки». Вам, вероятно, неизвестно, что среди черных племен, населяющих разные области Африки, встречаются негры, обладающие каким-то особым грубым поэтическим талантом и даром импровизации, напоминающим безумие. Эти негры, кочуя с места на место по своей дикой стране, являются тем, чем были в древности рапсоды, а в средние века — менестрели в Англии, миннезингеры в Германии и труверы во Франции. Их называют «гриотами». Их жены — гриотки, одержимые тем же духом безумия, сопровождают дикие песни своих мужей разнузданными плясками, которые кажутся уродливой пародией на танцы индостанских баядерок и египетских алмей. Несколько таких женщин уселись неподалеку от меня, поджав под себя ноги по африканскому обычаю, вокруг большой кучи хвороста, горевшей ярким пламенем и бросавшей красные отблески на их отвратительные лица.

Как только круг сомкнулся, они взялись за руки, и самая старая из них, с пером цапли в волосах, принялась выкрикивать «Уанга!» Я понял, что они собираются совершить один из своих колдовских обрядов, известный под этим названием. Все повторили за ней: «Уанга!» После сосредоточенного молчания старуха вырвала у себя клок седых волос, бросила его в огонь и произнесла слова заклинания: «Male о guiab!», что на наречии негров и креолов значит: «Я иду к черту». Все гриотки, подражая движениям старухи, бросили в огонь по пряди своих волос, повторив торжественно: «Male о guiab!»

Это нелепое восклицание и сопровождавшие его уморительные гримасы невольно вызвали у меня тот неудержимый судорожный припадок, который иногда овладевает против воли человеком самым серьезным и даже погруженным в глубокую печаль и который называют бешеным хохотом. Я тщетно пытался сдержать его, но он прорвался. Этот хохот, вырвавшийся из моей стесненной груди, повлек за собой мрачную сцену, ужасную и фантастическую.

Все негритянки, потревоженные в своем священнодействии, сразу вскочили на ноги, словно их внезапно разбудили от сна. До тех пор они не замечали меня. Они бросились ко мне толпой, с воплями: «Blanco! Blanco!»[[33]](#footnote-33) Никогда я не видел сборища таких отвратительных в своем разнообразии лиц, как эти разъяренные черные маски с белыми зубами и блестящими белками, на которых набухли кровавые жилы.

Они хотели растерзать меня. Старуха с пером в волосах подала знак и несколько раз прокричала: «Zote corde! Zote corde!»[[34]](#footnote-34) Тогда эти одержимые вдруг остановились, затем, к моему немалому удивлению, все разом отвязали свои передники из перьев, побросали их на траву и пустились вокруг меня в непристойную пляску, которую негры называют «чика».

Эта пляска, которая своими смешными движениями и быстрым темпом обычно выражает лишь веселье и удовольствие, теперь по многим причинам приняла зловещий характер. Злобные взгляды, которые гриотки бросали на меня во время своих игривых прыжков, мрачный оттенок, который они придавали веселой мелодии танца, долгие, пронзительные стоны, которые почтенная председательница этого черного синедриона время от времени извлекала из своего «балафо» (инструмента, напоминающего шпинет, рокочущий, как органчик, и состоящий из двух десятков деревянных трубочек разной длины и толщины), а больше всего омерзительный смех, с которым эти голые ведьмы, прерывая свой танец, по очереди подбегали ко мне так близко, что почти касались лицом моего лица, — все это ясно предвещало мне, какому ужасному наказанию должен подвергнуться белый, осквернивший их обряд «Уанга». Я помнил обычай дикарей плясать вокруг пленника перед тем, как прикончить его, и терпеливо дожидался, когда женщины исполнят свой балет в драме, развязку которой я должен буду обагрить своей кровью. Однако я не мог не содрогнуться, когда увидел, что, по особому звуку балафо, каждая женщина положила в пылавший костер клинок сабли или топор, длинную парусную иглу, клещи или пилу.

Пляска подходила к концу; орудия пытки раскалились докрасна. По знаку старухи женщины направились к костру длинной вереницей и одна за другой стали вынимать из огня какое-нибудь ужасное орудие. Те, кому не хватило раскаленного железа, вытаскивали горящие головни.

Тут только я понял, какая пытка ждет меня, понял, что каждая из этих танцовщиц будет моим палачом. По новому знаку своей предводительницы женщины, жалобно завывая, пустились в последний хоровод. Я закрыл глаза, чтобы не видеть этих скачущих дьяволиц, которые, задыхаясь от бешенства и усталости, равномерно взмахивали над головой своими раскаленными орудиями и, с резким стуком ударяя их друг о друга, рассыпали кругом мириады искр. Весь напрягшись, я ждал, что вот-вот раскаленное железо вопьется в мое тело, сжигая мои кости, разрывая мои жилы, что я почувствую жгучие укусы всех этих пил и клещей, и дрожь пробежала по мне с головы до ног... То была ужасная минута.

К счастью, она длилась недолго. Танец гриоток уже кончался, когда я услышал вдали голос негра, взявшего меня в плен. Он бежал к нам, крича: «Que haceis mugeres de demonio? que haceis alli? Dexais mi prisoniero!».[[35]](#footnote-35) Я открыл глаза. Уже совсем рассвело. Негр подбежал к костру с угрожающими жестами. Гриотки остановились; но, казалось, они не столько испугались его угроз, сколько смутились, увидев позади него странного человечка.

Он был очень толст и очень мал ростом, почти карлик, лицо его было закрыто белым покрывалом с тремя дырками — для глаз и для рта, вроде тех, что надевают кающиеся. Это покрывало спускалось ему на шею и на плечи, оставляя открытой обнаженную волосатую грудь, и мне показалось по цвету его кожи, что это замбо; на груди у него блестело висевшее на золотой цепочке серебряное солнце, отломанное от дароносицы. Рукоятка грубого кинжала, имевшая форму креста, торчала у него из-за пунцового пояса, поддерживавшего юбку в зеленую, желтую и черную полосу, с бахромой, которая спускалась до его уродливых, широких ступней. В руках, голых, как и его грудь, он держал белую палку; за поясом, рядом с кинжалам, у него висели драгоценные четки, а на голове была остроконечная шапка с бубенчиками, в которой, когда он приблизился, я, к немалому своему удивлению, узнал шутовской колпак Хабибры. Только теперь, среди иероглифов, которыми была разрисована эта своеобразная митра, виднелись пятна крови. Вероятно, то была кровь верного шута. Эти следы насилия показались мне лишним доказательством его смерти и пробудили в моем сердце последнее сожаление о нем.

Когда гриотки увидели этого наследника шутовского колпака Хабибры, они закричали все разом: «Оби!» — и пали ниц перед ним. Я догадался, что это колдун из армии Биасу. «Basta! Basta! — сказал он глухим и властным голосом, подходя к ним. — Dexais el prisoniero de Biassu».[[36]](#footnote-36) Все негритянки поспешно вскочили, побросали свои орудия смерти, подхватили передники из перьев и, по знаку оби, рассыпались во все стороны, как стая саранчи.

В эту минуту взгляд оби остановился на мне; он вздрогнул, отступил на шаг и протянул белую палку в сторону гриоток, как будто хотел вернуть их назад. Однако, пробормотав сквозь зубы: «Maldicho»[[37]](#footnote-37) и сказав несколько слов на ухо негру, он медленно удалился, скрестив руки на груди, в глубокой задумчивости.

## XXVII

Охранявший меня негр сообщил мне, что меня желает видеть Биасу и что через час я должен быть готов к свиданию с ним.

Это во всяком случае был лишний час жизни. В ожидании, пока пройдет этот час, глаза мои блуждали по лагерю мятежников, и его странный облик вырисовывался передо мной при свете дня со всеми подробностями. Не будь я в таком подавленном состоянии, я, наверно, не мог бы удержаться от смеха над глупым тщеславием негров, нацепивших на себя разные военные принадлежности и части церковного облачения, снятые ими со своих жертв. Большинство их нарядов превратилось уже в изодранные и окровавленные лохмотья. Часто можно было увидеть офицерский значок, блестевший под монашеским воротником, или эполет на ризе. Вероятно, стремясь отдохнуть от тяжелого труда, на который они были обречены всю жизнь, негры пребывали в полном бездействии, несвойственном нашим солдатам, даже когда они сидят в палатках. Некоторые из них спали прямо на солнцепеке, положив голову у пылающего костра; другие, смотря перед собой то тусклым, то злобным взглядом, тянули монотонный напев, сидя на корточках у своих ajoupas, своеобразных шалашей, покрытых банановыми или пальмовыми листьями и напоминающих конической формой крыш наши солдатские палатки. Их чернокожие или меднокожие жены готовили пищу для сражавшихся, а негритята помогали им. Я видел, как они размешивали деревянными вилами ямс, бананы, картофель, горох, кокосы, маис, караибскую капусту, называемую здесь tayo, и много других местных плодов, которые варились вместе с большими кусками свинины, собачьего и черепашьего мяса, в громадных котлах, украденных у плантаторов. Вдалеке, на самом краю лагеря, гриоты и гриотки водили большие хороводы вокруг костров, и ветер доносил до меня обрывки их диких песен, звуки гитар и балафо. Несколько дозорных, размещенных на вершинах соседних скал, обозревали окрестности главного штаба Биасу, единственной защитой которого на случай нападения были тележки, нагруженные добычей мятежников и боевыми припасами, оцеплявшие весь лагерь. Эти черные часовые, стоявшие на вершинах остроконечных гранитных пирамид, вздымавшихся вокруг всей долины, осматриваясь, все время крутились на одном месте, как флюгера на шпилях готических башен, и кричали друг другу во всю силу своих легких: «Nada! Nada!»[[38]](#footnote-38) — это значило, что лагерю не грозит никакая опасность.

Время от времени вокруг меня собирались кучки любопытных; негры смотрели на меня с угрожающим видом.

## XXVIII

Наконец ко мне подошел отряд довольно хорошо вооруженных цветных солдат. Негр, которому я, по-видимому, принадлежал, отвязал меня от дуба и передал начальнику отряда, а тот вручил ему взамен довольно увесистый мешочек, который он тотчас же раскрыл. Там были пиастры. Пока мой негр, опустившись на колени, жадно пересчитывал их, солдаты увели меня. Я с любопытством рассматривал их одежду. На них были трехцветные мундиры испанского покроя из грубого коричневого, красного и желтого сукна. Шапки вроде кастильских montera,[[39]](#footnote-39) украшенные большой красной кокардой,[[40]](#footnote-40) скрывали их курчавые волосы. Вместо лядунки у них сбоку висело что-то вроде охотничьей сумки. Каждый был вооружен тяжелым ружьем, саблей и кинжалом. Вскоре я узнал, что такую форму носили телохранители Биасу.

Покружив некоторое время между неправильными рядами шалашей, которые усеивали весь лагерь, мы подошли ко входу в грот, высеченный самой природой в отвесном склоне одной из громадных скал, окружавших высокой стеной саванну. Внутренность этой пещеры была скрыта от глаз большим занавесом из тибетской ткани, называемой кашемиром и отличающейся не столько яркостью красок, сколько мягкостью складок и разнообразием рисунка. Перед ней стояло несколько сдвоенных рядов солдат, одетых так же, как и те, что привели меня.

Обменявшись паролем с двумя часовыми, шагавшими перед входом в грот, начальник отряда приподнял край кашемирового занавеса, ввел меня в пещеру и снова опустил его за мной.

Медная лампа с пятью рожками, подвешенная к своду на цепях, бросала колеблющийся свет на сырые стены пещеры, скрытой от дневного света. Между двумя шеренгами солдат-мулатов я увидел чернокожего, сидящего на толстом обрубке красного дерева, наполовину прикрытом ковром из перьев попугая. Этот человек принадлежал к племени сакатра, которое отличается от негров только едва заметным оттенком кожи. Одет он был самым нелепым образом. Прекрасный плетеный шелковый пояс, на котором висел крест св. Людовика, низко перетягивал ему живот и поддерживал синие штаны из грубого холста; белая канифасовая куртка, такая короткая, что не доходила ему до пояса, дополняла его наряд. На нем были серые сапоги, круглая шляпа с красной кокардой и эполеты — один золотой, генеральский, с двумя серебряными звездочками, а другой желтый, суконный. Ко второму были прикреплены две медные звездочки, очень похожие на колесики со шпор, для того, вероятно, чтобы он был достойной парой своему блестящему соседу. Эполеты, не прикрепленные поперечными шнурками на своих обычных местах, свисали с двух сторон на грудь начальника. Подле него, на ковре из перьев, лежала сабля и пистолеты прекрасной чеканной работы.

За его спиной безмолвно и неподвижно стояли двое детей, одетых в грубые штаны невольников, и держали в руках по широкому вееру из павлиньих перьев. Дети-невольники были белые.

Две квадратные подушки малинового бархата, снятые, должно быть, со скамеек для молящихся в какой-нибудь церкви, лежали слева и справа у обрубка красного дерева, вместо сидений. Правое занимал оби, который спас меня от разъяренных гриоток. Держа прямо перед собой свой жезл, он сидел поджав ноги, неподвижный, как фарфоровый божок в китайской пагоде. Только его горящие глаза сверкали сквозь дырки в покрывале, неотступно следуя за мной.

По обе стороны начальника стояло множество знамен, флагов и вымпелов, среди которых я заметил белое знамя с лилиями, трехцветный флаг и флаг Испании. Остальные были самой причудливой формы и цвета. Среди них находилось большое черное знамя.

Мое внимание привлек еще один предмет, находившийся в глубине грота, над головой начальника. Это был портрет мулата Оже[[41]](#footnote-41), колесованного в прошлом году в Капе за мятеж, вместе с его лейтенантом Жан-Батистом Шаваном и двадцатью другими неграми и мулатами. На этом портрете Оже, сын капского мясника, был изображен так, как он обычно заставлял рисовать себя: в мундире подполковника, с крестом св. Людовика и орденом Льва, купленным им в Европе, у принца Лимбургского.

Черный начальник, перед которым я стоял, был среднего роста. Его отталкивающее лицо выражало редкую смесь хитрости и жестокости.

Он приказал мне приблизиться и несколько минут молча рассматривал меня: затем принялся посмеиваться, точно гиена.

— Я Биасу! — сказал он.

Я ожидал, что услышу это имя, но когда оно слетело с его уст со свирепым смехом, я внутренне содрогнулся. Лицо мое, однако, осталось спокойным и гордым. Я ничего не ответил.

— Слышишь, — сказал он мне на плохом французском языке, — тебя ведь еще не посадили на кол, значит ты можешь согнуть свою спину перед Жаном Биасу, главнокомандующим побежденных стран, генерал-майором войск Su Magestad Catolica.[[42]](#footnote-42) (Тактика главных вождей мятежников заключалась в попытках убедить противника, будто они выступают либо за французского короля, либо за революцию, либо за короля Испании.)

Скрестив руки на груди, я пристально смотрел на него. Он снова начал посмеиваться. Видно, у него была такая привычка.

— Ого, me pareces hombre de buen corazon.[[43]](#footnote-43) Так слушай, что я тебе скажу. Ты креол?

— Нет, я француз, — ответил я.

Он нахмурился, видя мое самообладание. Затем продолжал, посмеиваясь:

— Тем лучше! Я вижу по твоему мундиру, что ты офицер. Сколько тебе лет?

— Двадцать.

— Когда тебе минуло двадцать лет?

Этот вопрос пробудил во мне много мучительных воспоминаний, и я промолчал, на минуту погрузившись в свои мысли. Он нетерпеливо повторил свой вопрос.

Я ответил ему:

— В тот самый день, когда был повешен твой товарищ Леогри.

Лицо его исказилось от злобы, но он сдержался и продолжал, все так же посмеиваясь:

— С тех пор как был повешен Леогри, прошло двадцать три дня. Сегодня вечером, француз, ты передашь ему, что пережил его на двадцать четыре дня. Я дам тебе прожить еще этот день, чтобы ты мог рассказать ему, как идет дело освобождения его братьев, что ты видел в главном штабе генерал-майора Жана Биасу и какова власть этого главнокомандующего над «подданными короля».

Этим именем Жан Биасу и его товарищ Жан-Франсуа, заставлявший титуловать себя «генерал-адмиралом Франции», называли свои орды бунтующих негров и мулатов.

После этого он велел посадить меня в углу пещеры, между двумя часовыми, и, сделав знак рукой нескольким неграм, нацепившим на себя форму адъютантов, приказал:

— Бейте сбор. Пусть вся армия соберется против нашего главного штаба, мы произведем ей смотр. А вы, господин капеллан, — сказал он, повернувшись к оби, — облачитесь в священническую одежду и отслужите нам и нашим солдатам святую обедню.

Оби встал, отвесил глубокий поклон Биасу и прошептал ему на ухо несколько слов, но начальник резко прервал его, громко сказав:

— Как, senor cura![[44]](#footnote-44) Вы говорите, что у вас нет алтаря! Что ж тут удивительного, раз вы находитесь в горах? Подумаешь, какая беда! С каких это пор bon Giu[[45]](#footnote-45) требует от своих служителей роскошного храма и алтаря, украшенного золотом и кружевами? Гедеон и Иисус Навин поклонялись богу среди голых камней; последуем же их примеру, bon per;[[46]](#footnote-46) богу довольно, чтобы ему молились от всего сердца. У вас нет алтаря! А разве вы не можете взять себе вместо алтаря этот большой ящик из-под сахара, вытащенный третьего дня подданными короля из дома Дюбюисона?

Желание Биасу было тотчас же исполнено. В один миг пещера была приготовлена для пародии на богослужение. Принесли ковчег и дарохранительницу со святыми дарами, похищенные из той самой церкви в Акюле, где наш союз с Мари получил благословение неба, вслед за чем так быстро последовали все наши несчастья. Украденный ящик из-под сахара превратили в алтарь, прикрыв его простыней вместо покрова; однако на боковых стенках этого алтаря можно было прочесть надпись: «Дюбюисону и Кє в Нанте».

Когда священные сосуды были расставлены на алтаре, оби заметил, что там не хватает креста; недолго думая, он вытащил из-за пояса свой кинжал с крестообразной рукояткой и воткнул его в ящик, прямо перед ковчегом, между дарохранительницей и чашей. Затем, не снимая своей колдовской шапки и покрывала кающегося, он быстро накинул себе на голую грудь и спину ризу, украденную у акюльского священника, расстегнул серебряные застежки требника, по которому читались молитвы во время моего рокового венчания, и, повернувшись к Биасу, сидение которого было в нескольких шагах от алтаря, низким поклоном возвестил, что он готов.

Тогда по знаку Биасу кашемировый занавес был отдернут, и мы увидели все черное войско, выстроившееся плотными каре перед входом в пещеру. Биасу снял свою круглую шляпу и опустился на колени перед алтарем.

«На колени!» — крикнул он громким голосом. «На колени!» — повторили начальники каждого отряда. Послышался барабанный бой. Вся толпа опустилась на колени.

Один я не двинулся с места, глубоко возмущенный кощунством, совершавшимся перед моими глазами; но два здоровенных мулата, стороживших меня, выбили из-под меня сидение, грубо толкнули меня в спину, и я упал на колени, как и все, вынужденный оказать подобие уважения этому подобию богослужения.

Оби служил с торжественным видом. Два белых пажа Биасу прислуживали ему вместо дьякона и пономаря.

Толпа бунтовщиков, по-прежнему распростертая на земле, внимала торжественному обряду с благоговением, и главнокомандующий первый подавал им пример. Перед причастием оби, подняв обеими руками чашу с дарами, повернулся к войску и прокричал на креольском наречии:

— Zote cone bon Giu; ce li mo fe zote voer. Blan touye li, touye blan yo toute![[47]](#footnote-47)

При этих словах, произнесенных сильным голосом, который показался мне знакомым, точно я где-то раньше слышал его, вся толпа зарычала; негры долго потрясали оружием, стуча им над головой, и потребовалось вмешательство самого Биасу, чтоб этот зловещий лязг не стал для меня похоронным звоном. Я понял, до какого исступления можно довести отвагу и жестокость этих людей, которым кинжал заменял крест и на которых каждое впечатление оказывает такое быстрое и сильное действие.

## XXIX

Когда обедня закончилась, оби повернулся к Биасу и отвесил ему почтительный поклон. Биасу встал и обратился ко мне по-французски:

— Нас обвиняют в том, что мы безбожники; теперь ты видишь, что это клевета и что все мы — добрые католики.

Не знаю, говорил ли он с насмешкой, или серьезно. Потом он приказал подать ему стеклянный сосуд, полный черных маисовых зерен, бросил туда горсть белых зерен и, подняв его высоко над головой, чтобы все войско могло видеть, сказал:

— Братья, вы — черный маис, а белые, ваши враги, — белый маис!

С этими словами он встряхнул сосуд, и когда почти все белые зерна скрылись под черными, он воскликнул с вдохновенным и торжествующим видом:

— Guette blan ci la ta![[48]](#footnote-48)

Оглушительный крик, много раз подхваченный эхом в окрестных горах, был ответом на притчу предводителя. Биасу продолжал, пересыпая свой ломаный французский язык креольскими и испанскими фразами.

— El tiempo de la mansuetud es pasado.[[49]](#footnote-49) Мы долго терпели, как бараны, чью шерсть белые сравнивают с нашими волосами; будем же теперь безжалостны, как пантеры и ягуары тех стран, откуда белые вырвали нас. Только силой можно завоевать себе право; все принадлежит тому, кто силен и не знает жалости. У святого Волка[[50]](#footnote-50) два праздника в грегорианском календаре, а у пасхального агнца только один! Правда, господин капеллан?

Оби поклонился, подтверждая его слова.

— Они пришли к нам, — продолжал Биасу, — они пришли, эти враги человеческого рода, эти белые — колонизаторы, плантаторы, торговцы, эти verdaderos demonios,[[51]](#footnote-51) которых изрыгнула Алекто! Son venidos con insolencia;[[52]](#footnote-52) они были великолепны с виду, увешаны оружием, в роскошной одежде, с султанами на шапках, и они презирали нас за нашу черную кожу и за наготу. В своей гордости они думали, что могут разогнать нас так же легко, как эти павлиньи перья рассеивают черную стаю комаров и москитов.

Сделав это сравнение, Биасу выхватил веер у одного из белых рабов, всегда следовавших за ним, и стал неистово размахивать им над головой. Затем он продолжал:

— Но наше войско, о мои братья, обрушилось на них, как полчища муравьев на труп; они падали в своих нарядных мундирах под ударами наших голых рук, силы которых они не оценили, ибо не знали, что хорошее дерево крепче без коры. Теперь эти ненавистные тираны трепещут! Yo gagne peur![[53]](#footnote-53)

На крик начальника толпа ответила радостным и торжествующим ревом; со всех сторон неслось: «Yo gagne peur!»

— Черные, креолы и негры конго! — продолжал Биасу. — Месть и свобода! Мулаты, не давайте смягчить себя, не поддавайтесь обольщениям de los diabolos blancos.[[54]](#footnote-54) Ваши отцы в их рядах, но ваши матери с нами. К тому же, о hermanos de mi alma,[[55]](#footnote-55) они никогда не обращались с вами как отцы, а только как хозяева; вы были теми же рабами, что и негры. Жалкая повязка едва прикрывала ваши сожженные солнцем бедра, а ваши жестокие отцы щеголяли в buenos sombreros,[[56]](#footnote-56) носили в будни нанковые куртки, в праздники — одежду из шерсти или бархата, a diez y siete quartos la vara.[[57]](#footnote-57)

Прокляните этих извергов! Но так как святые заповеди господа бога запрещают убивать родного отца, не наносите ему удара своей рукой. Если вы увидите его в рядах врагов, кто мешает вам, друзья, сказать друг другу: «Touye papa moe, ma touye quena toue!».[[58]](#footnote-58)

Мщение, подданные короля! Свободу для всех! Этот призыв встретил отклик на всех островах; он впервые раздался на Quisqueya,[[59]](#footnote-59) он разбудил Табаго и Кубу. Вождь ста двадцати пяти беглых негров с Синей Горы, ямайский негр Букман, первый поднял знамя среди нас. Одержанная им победа была первым шагом к братскому союзу с неграми Сан-Доминго. Последуем же его славному примеру, взяв в одну руку факел, а в другую топор! Нет пощады белым, нет пощады плантаторам! Перебьем их семьи, опустошим их плантации; пусть не останется в их владениях ни одного дерева, не вывернутого с корнями из земли! Разгромим все, и пусть земля поглотит всех белых. Смело вперед, друзья и братья! Мы будем драться и уничтожать! Победа или смерть! Если мы победим, настанет наш черед наслаждаться всеми радостями жизни; если умрем, мы пойдем на небо, в рай, где святые ждут нас и где каждый храбрец будет получать двойную порцию d’aguardiente[[60]](#footnote-60) и по целому пиастру в день!

Эта своеобразная солдатская проповедь, которая вам, господа, кажется только смешной, произвела на мятежников сильнейшее впечатление. Правда, необыкновенно выразительные жесты и мимика Биасу, вдохновенный голос и странный смех, иногда прерывавший его речь, придавали ей какую-то чудесную, неотразимую силу. Искусство, с каким он вплетал в свои пышные фразы подробности, разжигавшие страсти и чаяния мятежников, еще усиливало это красноречие, рассчитанное на его неискушенных слушателей.

Я не берусь описать вам, какой мрачный восторг охватил войско мятежников после речи Биасу. Крики, стоны, вопли слились в оглушительный хор. Одни били себя в грудь, другие громко стучали саблями и дубинами. Многие, стоя на коленях или простершись на земле, застыли в немом экстазе. Некоторые негритянки раздирали себе руки и грудь рыбьими костями, служившими им гребенками для расчесывания волос. Звуки гитар, барабанов, тамтамов, балафо смешивались с ружейными выстрелами. Это был настоящий шабаш.

Биасу подал знак рукой; шум стих, как по волшебству; каждый негр молча стал на свое место. Эта дисциплина, которой Биасу сумел подчинить людей, равных себе, единственно превосходством своей мысли и воли, поразила и, можно даже сказать, восхитила меня. Казалось, что все солдаты этой мятежной армии говорят и двигаются по мановению руки своего начальника, точно клавиши фортепиано под пальцами музыканта.

## XXX

Новое зрелище, новый вид шарлатанства и обмана привлек теперь мое внимание: началась перевязка раненых. Оби, исполнявший в этой армии двойную роль — врача духовного и врача телесного, начал осмотр больных. Он снял с себя церковное облачение и велел принести большой ящик с несколькими отделениями, где у него хранились лекарства и хирургические инструменты. Он очень редко пользовался этими орудиями и, за исключением ланцета из рыбьей кости, которым он очень ловко пускал кровь, казалось, не умел толком обращаться ни с клещами, служившими ему пинцетом, ни с кинжалом, заменявшим ему операционный нож. В большинстве случаев он ограничивался тем, что прописывал больным отвар из лесных апельсинов, настойку из оспенного корня и сарсапарели, а также несколько глотков выдержанной сахарной водки. Его любимым лекарством, которое он считал всеисцеляющим, было три стакана красного вина, куда он подмешивал стертый в порошок мускатный орех и желток крутого яйца, испеченного в золе. Он употреблял это снадобье для лечения всевозможных болезней и ран. Вы, конечно, понимаете, что его медицина была так же смехотворна, как и религия, которую он проповедовал; очень возможно, что небольшого числа излечений, случайно удавшихся ему, было бы недостаточно, чтобы сохранить доверие негров, если бы он, раздавая свои зелья, не прибегал к разным фокусам и не старался тем сильнее действовать на воображение своих больных, чем меньшее влияние он оказывал на ход их болезни. Так, иногда он только прикасался к их ранам, делая какие-то таинственные знаки; иногда, ловко пользуясь сохранившимися у них остатками прежних суеверий, смешавшихся в их сознании с недавно усвоенным католицизмом, он вкладывал в раны волшебный камешек, обернутый в корпию, и больной приписывал камню облегчение, принесенное ему корпией. Если оби сообщали, что один из его раненых умер от раны, а может и от его лечения, он говорил торжественно: «Я это предвидел, он был предателем; во время такого-то пожара он спас белого. Смерть была ему наказанием!» — и ошеломленная толпа мятежников хлопала ему, все больше проникаясь чувством ненависти и мщения. Один из способов лечения этого шарлатана особенно поразил меня. Он применил его к одному черному начальнику, довольно серьезно раненному во время последнего сражения. Оби долго рассматривал его рану, перевязал ее как сумел, потом, взобравшись на алтарь, воскликнул: «Все это пустяки!» Вслед за тем он вырвал три-четыре страницы из требника, сжег их на пламени светильника, украденного в акюльской церкви, и, смешав пепел этих священных листков с несколькими каплями вина в чаше для причастия, сказал раненому: «Пей, это твое исцеление».[[61]](#footnote-61)

Глупый негр выпил, уставившись полными доверия глазами на обманщика, который простер руки над его головой, как будто призывая на него благословение неба; и возможно, что вера в исцеление помогла негру исцелиться.

## XXXI

За этой сценой последовала другая, где тот же оби, скрытый под покрывалом, опять играл главную роль: священника сменил доктор, а доктора колдун.

— Hombres escuchate![[62]](#footnote-62) — закричал оби, с необыкновенной ловкостью вскакивая на импровизированный алтарь и усаживаясь на нем, скрестив ноги под своей пестрой юбкой. — Escuchate, hombres! Пусть те, кто хочет прочесть в книге судеб свое будущее, подходят ко мне, я сообщу вам его; he estudiado la ciencia de los Gitanos.[[63]](#footnote-63)

Толпа негров и мулатов сейчас же бросилась к нему.

— Подходите по одному! — сказал оби, в глухом и сдавленном голосе которого иногда прорывались крикливые ноты, будившие во мне какие-то неясные воспоминания. — Если вы подойдете все вместе, то все вместе отправитесь в могилу.

Они остановились. В эту минуту к Биасу подошел мулат, одетый в белую куртку и брюки; голова его была повязана шелковым платком, какие носят богатые плантаторы. Лицо его выражало ужас.

— В чем дело? — тихо спросил его главнокомандующий. — Что с вами, Риго[[64]](#footnote-64)?

Это был начальник отряда мулатов из Кэй, известный впоследствии под именем «генерала Риго», хитрец под личиной простака, скрывавший свою жестокость под напускной кротостью. Я внимательно разглядывал его.

— Генерал, — ответил Риго (он говорил очень тихо, но я сидел около Биасу и слышал его слова), — у входа в лагерь дожидается гонец от Жана-Франсуа. Букман только что убит в схватке с Тузаром; говорят, что белые собираются выставить его голову, как трофей, у себя в городе.

— И только? — спросил Биасу; глаза его вспыхнули тайной радостью при мысли, что число начальников уменьшается, а следовательно, его значение увеличивается.

— Гонец Жана-Франсуа хочет еще передать вам пакет.

— Хорошо, — ответил Биасу, — но не смотрите на меня, точно выходец из могилы, мой милый Риго.

— Разве вы не боитесь, генерал, что смерть Букмана произведет тяжелое впечатление на ваше войско? — возразил Риго.

— Вы не так просты, как кажетесь, Риго, — ответил начальник, — сейчас вы увидите, каков Биасу. Задержите только гонца на четверть часа.

И он подошел к оби, который в течение этого разговора, слышанного только мной, начал свои пророчества; он задавал вопросы зачарованным неграм, рассматривал линии на их лбах и руках и дарил им больше или меньше счастья в будущем, смотря по звону, цвету и величине монеты, бросаемой каждым из них в блюдо золоченого серебра, стоявшее у его ног. Биасу сказал ему на ухо несколько слов. Колдун, не отрываясь, продолжал свое гадание по лицам.

— Тот, у кого на середине лба линию солнца пересекает маленький четырехугольный или трехугольный значок, тот без труда и без забот приобретет большое богатство.

Рисунок, похожий на три буквы S, стоящие рядом на лбу, будь то посередине или сбоку, — знак зловещий: кто носит такой знак, непременно утонет, если не будет всеми силами избегать воды.

Четыре линии, идущие от носа ко лбу и расходящиеся попарно, изгибаясь над глазами, указывают, что их обладатель попадет в плен на войне и будет жестоко страдать в руках врага.

Тут оби сделал небольшую паузу.

— Товарищи, — сказал он торжественно, — я видел этот знак на лбу у Бюг-Жаргаля, вождя храбрых воинов Красной Горы.

Эти слова, еще раз подтвердившие мне, что Бюг-Жаргаль взят в плен, вызвали горестные крики в толпе негров, чьи вожаки были в яркокрасных штанах; то были мятежники Красной Горы.

Между тем оби продолжал:

— Если у вас на лбу, с правой стороны, на линии луны есть значок, похожий на вилы, — бойтесь праздности и избегайте кутежей. Небольшой, но очень важный значок, похожий на арабскую цифру 3, на линии солнца, предвещает палочные удары...

Тут колдуна прервал старый негр из испанского Доминго. Он подполз к нему, умоляя сделать ему перевязку. Он был ранен в лоб, один глаз был у него вырван и висел, весь залитый кровью. Во время обхода раненых оби забыл о нем. Теперь, увидев его, он воскликнул:

— Тоненькие кружочки в правой части лба, на линии луны, означают болезнь глаз. Hombre, — обратился он к несчастному раненому, — я ясно вижу этот знак у тебя на лбу; покажи свою руку.

— Alas! exelentisimo senor! — воскликнул тот. — Mir’usted mi ojo![[65]](#footnote-65)

— Fatras,[[66]](#footnote-66) — ответил ему оби сердито, — очень мне нужен твой глаз! Дай руку, тебе говорят!

Несчастный протянул ему руку, но продолжал бормотать: «mi ojo!»

— Прекрасно! — сказал колдун. — У кого на линии жизни виден маленький кружок с точкой посередине, тот окривеет, потому что этот знак предвещает потерю глаза. Вот здесь у тебя кружок и точка... ты окривеешь.

— Ya le soy![[67]](#footnote-67) — жалобно завыл старый негр.

Но оби, который сейчас уже не был врачом, грубо оттолкнул его и продолжал, не обращая внимания на жалобы бедного калеки:

— Escuchate, hombres! Если семь линий на лбу тонки, извилисты и слабо начертаны, это указывает, что человек проживет недолго.

Тот, у кого между бровями, на линии луны, виден значок, похожий на две скрещенные стрелы, погибнет в сражении.

Когда линия жизни, пересекающая нашу руку, заканчивается около кисти крестом, она предсказывает смерть на эшафоте.

Я должен сказать вам, hermanos,[[68]](#footnote-68) что один из храбрейших поборников свободы, Букман, отмечен всеми тремя роковыми знаками.

При этих словах все негры замерли и затаили дыхание; их широко открытые глаза, прикованные к шарлатану, выражали напряженное внимание, похожее на столбняк.

— Мне не ясно, — добавил оби, — сочетание этих двух знаков, угрожающих Букману одновременно смертью в бою и эшафотом. Однако искусство мое непогрешимо.

Он замолчал и переглянулся с Биасу. Биасу сказал несколько слов на ухо одному из своих адъютантов, и тот сразу вышел из пещеры.

— Открытый, безвольный рот, — продолжал оби, обращаясь к своим слушателям с хитрым и насмешливым выражением, — нелепая поза, болтающиеся руки, причем левая кисть отчего-то вывернута наружу, — все это свидетельствует о врожденном тупоумии, ничтожестве, пустоте и глупом любопытстве.

Биасу посмеивался. В эту минуту вернулся его адъютант; он привел с собой негра, покрытого пылью и грязью; по его исцарапанным колючками и разбитым о камни ногам было видно, что он прошел немалый путь. Это был гонец, о котором говорил Риго. В одной руке он держал запечатанный пакет, а в другой развернутый лист пергамента с большой печатью в виде пылающего сердца. В середине печати был изображен вензель из причудливо сплетенных букв М и Н, по-видимому означавший союз свободных мулатов и негров-невольников. Около вензеля я прочел надпись: «Предрассудок побежден, цепи разбиты! Да здравствует король!» Этот пергамент был пропуск, выданный Жаном-Франсуа.

Гонец подал его Биасу и, поклонившись до земли, вручил ему запечатанный пакет. Главнокомандующий быстро вскрыл его, пробежал лежавшие в нем депеши, спрятал одну из них в карман своей куртки, а другую скомкал в руке и воскликнул с выражением отчаяния:

— Подданные короля!..

Все негры низко склонились перед ним.

— Подданные короля! Вот что сообщает Жану Биасу, главнокомандующему побежденных стран, генерал-майору войск его католического величества, Жан-Франсуа — генерал-адмирал Франции, фельдмаршал армии его величества вышеупомянутого короля Испании и Индии:

«Букман — вождь ста двадцати негров Синей Горы на Ямайке, признанных независимыми генерал-губернатором Белькомбом, сегодня погиб в славной битве за свободу и человечество, против деспотизма и варварства. Наш доблестный вождь был убит в схватке с белыми бандитами подлого Тузара. Эти изверги отрезали ему голову и объявили, что они с позором выставят ее на эшафоте, на военном плацу города Капа. — Мщение!»

Услышав это известие, толпа замерла в мрачном отчаянии. Но оби вскочил на ноги на алтаре и закричал с торжеством, размахивая своей белой палкой:

— Соломон, Зоробабель, Элеазар Талеб, Кардано, Иуда Бовтарихт, Аверроэс, Альбер Великий, Боабдил, Жан де Хаген, Анна Баратро, Даниэль Огрумов, Рашель Флинц, Альторнино! Благодарю вас! Наука ясновидения не обманула меня. Hijos, amigos, hermanos, muchachos, mozos, madres, у vosotros todos qui me escuchais aqui.[[69]](#footnote-69) Что я предсказал? Que habia dicho?[[70]](#footnote-70) Знаки на лбу Букмана предвещали мне, что он проживет недолго и погибнет в сражении; линии на его руке — что он будет на эшафоте. Мое искусство никогда не обманывает, и события сами складываются так, чтобы все исполнилось, даже то, что нам кажется несовместимым, например смерть на поле сражения и на эшафоте. Братья, изумляйтесь!

Во время этой речи отчаяние негров сменилось каким-то суеверным ужасом. Они слушали оби с доверием и в то же время со страхом; а он, опьяненный своими словами, расхаживал взад и вперед по ящику из-под сахара, на крышке которого он мог свободно сделать несколько коротеньких шажков. Биасу посмеивался.

Затем он обратился к оби:

— Господин капеллан, раз вы умеете предсказывать будущее, нам было бы приятно, если б вы согласились сообщить, какая нас ждет судьба, нас, Жана Биасу, mariscal de campo?[[71]](#footnote-71)

Оби гордо остановился на шутовском алтаре, где негры, по своей наивности, принимали его за высшее существо, и сказал Биасу:

— Venga, vuestra merced![[72]](#footnote-72)

В эту минуту оби был самым значительным человеком в армии. Власть военная склонилась перед властью жреческой. Биасу подошел. В глазах его светилась досада.

— Дайте вашу руку, генерал, — сказал оби, наклоняясь над ней. — Empezo.[[73]](#footnote-73) Линия сустава, четкая и ровная по всей длине, обещает вам богатство и счастье. Линия жизни, длинная и ясная, предсказывает вам жизнь без болезней и бодрую старость; линия эта тонка, что свидетельствует о вашей мудрости, проницательном уме и великодушном сердце; и, наконец, я вижу на ней такой знак, какой хироманты считают самым счастливым: множество мелких морщинок, придающих ей форму дерева с густыми ветвями, поднимающимися вверх по ладони, — это верный признак изобилия и величия. Линия здоровья очень длинна и подтверждает указания линии жизни; она же указывает на храбрость: загибаясь к мизинцу, она образует как бы крючочек. Генерал, это признак справедливой строгости.

При этих словах блестящие глаза маленького колдуна уставились на меня сквозь дырки в его покрывале, и я снова услышал знакомые нотки, проскользнувшие в его обычно торжественном голосе. Он продолжал, и в его тоне и движениях чувствовалась какая-то тайная цель.

— Маленькие кружочки на линии здоровья доказывают, что по вашему приказанию будет совершено много необходимых казней. Эта линия прерывается в середине и образует небольшой полукруг — знак, что вы подвергнетесь большой опасности при нападении хищных зверей, то есть белых, если вы их не истребите. Линия судьбы, окруженная, как и линия жизни, маленькими веточками, поднимающимися вверх по ладони, подтверждает, что вам предстоит могущество и высшая власть, к которой вы призваны; прямая и тонкая в верхней своей части, эта линия говорит о способности управлять людьми. Пятая линия — линия треугольника, протянувшаяся до среднего пальца, обещает вам блестящий успех во всех делах. Теперь посмотрим ваши пальцы. Большой палец, по которому тянется много мелких линий, от ногтя до сустава, обещает вам большое наследство: да, конечно, ведь вы унаследуете славу Букмана! — добавил оби, повысив голос. — Маленькая выпуклость у основания указательного пальца покрыта слабо заметными морщинками — это почести и слава! Средний палец ничего не говорит. Безымянный весь изрезан пересекающимися линиями — вы победите всех своих врагов и возвыситесь над всеми своими соперниками. Эти линии образуют несколько андреевских крестиков — знак гениальности и прозорливости. Сустав, соединяющий мизинец с ладонью, покрыт извилистыми морщинками — судьба осыплет вас своими дарами. Кроме того, я вижу на нем кружок — еще одно предсказание будущего могущества и почестей.

«Счастлив тот, — говорил Элеазар Талеб, — кто носит все эти знаки! Судьба позаботится о его благоденствии, и его счастливая звезда пошлет ему талант, ведущий к славе». Теперь, генерал, разрешите мне посмотреть ваш лоб. «Тот, — говорила цыганка Рашель Флинц, — у кого на середине лба линию солнца пересекает маленький четырехугольный или трехугольный значок, будет очень богат...» У вас он виден очень ясно. «Если знак этот находится справа, он обещает значительное наследство...» Снова наследие Букмана! «Знак подковы между бровями, под линией луны, говорит, что человек умеет мстить за оскорбления и жестокость». У меня есть этот знак; у вас тоже.

Выражение, с каким оби произнес слова: «у меня есть этот знак», снова поразило меня.

— Он бывает, — продолжал оби тем же тоном, — у храбрецов, умеющих подготовить смелое восстание, разбить цепи рабства в бою. Отпечаток львиного когтя над вашей левой бровью свидетельствует о необычайной отваге. Наконец, генерал Биасу, я вижу на вашем челе самый верный из всех знаков, предсказывающих счастье: сочетание линий, образующее букву М — первую букву имени святой девы. На какой стороне лба, на какой морщине ни стоял бы этот знак, он всегда означает гений, славу и могущество. Тот, кто им отмечен, принесет победу тому делу, которому служит; те, чьим он будет вождем, никогда не понесут никаких потерь; он один будет стоить всех защитников своей партии. И вы — этот избранник судьбы!

— Gratias,[[74]](#footnote-74) господин капеллан, — сказал Биасу, собираясь вернуться на свой трон красного дерева.

— Подождите, генерал, — остановил его оби, — я забыл еще один знак. Линия солнца резко обозначена у вас на лбу и доказывает уменье жить, стремление сделать людей счастливыми, великодушие и щедрость.

Биасу, по-видимому, понял, что скорей сам проявил забывчивость, чем оби. Он вытащил из кармана довольно тяжелый кошелек и бросил его на серебряное блюдо, чтобы линия солнца не была уличена во лжи.

Между тем блестящий гороскоп вождя произвел глубокое впечатление на войско. Все мятежники, для которых каждое слово оби, после известия о смерти Букмана, приобрело небывалое значение, перешли от отчаяния к энтузиазму; слепо доверяя своему непогрешимому колдуну и ниспосланному судьбой полководцу, они принялись вопить во все горло: «Да здравствует оби! Да здравствует Биасу!» Оби и Биасу переглянулись, и мне послышалось, что оби ответил сдавленным смехом на хихиканье главнокомандующего.

Не знаю почему, этот колдун чем-то тревожил меня; мне все казалось, что я уже видел или слышал кого-то, напоминавшего мне это странное существо; мне захотелось, чтобы он поговорил со мной.

— Господин оби, senor cura, doctor medico,[[75]](#footnote-75) господин капеллан, bon per, — обратился я к нему.

Он резко повернулся ко мне.

— Здесь есть еще один человек, которому вы не предсказали судьбу: это я.

Он скрестил руки на серебряном солнце, прикрывавшем его волосатую грудь, и ничего не ответил.

Я продолжал:

— Мне хотелось бы знать, что вы скажете о моем будущем; но ваши честные товарищи отобрали у меня часы и кошелек, а вы не из тех волшебников, что пророчествуют gratis.[[76]](#footnote-76)

Он быстро подошел ко мне и глухо сказал мне на ухо:

— Ты ошибаешься! Покажи свою руку.

Я протянул ему руку, глядя на него в упор. Глаза его сверкали; он сделал вид, что рассматривает мою ладонь.

— Если линию жизни пересекают посередине две резкие поперечные черточки, — сказал он, — это знак близкой смерти... Твоя смерть близка!

Если линия здоровья проходит не посреди ладони, а линия жизни и линия судьбы, соединяясь внизу, образуют угол, — тогда нельзя ждать естественной смерти... Не жди естественной смерти!

Если указательный палец пересечен снизу доверху длинной линией, — это знак насильственной смерти... Слышишь? Готовься к насильственной смерти!

В его замогильном голосе, возвещавшем мне смерть, звучала затаенная радость; я слушал его равнодушно и с презрением.

— Колдун, — сказал я ему с насмешкой, — ты ловок, ты гадаешь наверняка.

Он придвинулся ко мне еще ближе.

— Ты сомневаешься в моем искусстве? Ну что ж! Послушай дальше. Разрыв линии солнца у тебя на лбу говорит о том, что ты принимаешь врага за друга, а друга за врага.

Слова эти как будто намекали на изменника Пьеро, которого я любил и который предал меня, и на верного Хабибру, которого я презирал и чья окровавленная одежда свидетельствовала о его преданности и самоотверженной смерти.

— О чем ты говоришь? — воскликнул я.

— Слушай до конца, — продолжал оби, — я говорил тебе о будущем, теперь скажу о прошлом. Линия луны слегка изгибается у тебя на лбу; это значит, что твою жену похитили.

Я вздрогнул и хотел вскочить с места, но моя стража удержала меня.

— Ты нетерпелив, — сказал колдун, — выслушай же до конца. Маленький крестик на самом конце этой изогнутой линии дополняет мое толкование. Твоя жена была похищена в первую же ночь после свадьбы.

— Негодяй! — вскричал я. — Ты знаешь, где она? Кто ты?

Я снова попытался броситься на него и сорвать его покрывало, но мне пришлось уступить численности и силе моих противников; с бешенством смотрел я на удалявшегося оби, бросившего мне перед уходом:

— Веришь мне теперь? Готовься к скорой смерти!

## XXXII

Как будто для того, чтобы отвлечь меня на время от тревоги, овладевшей мной во время этой странной сцены, перед моими глазами развернулось новое представление — драма, сменившая забавную комедию, только что разыгранную оби и Биасу перед ошеломленной толпой.

Биасу снова уселся на свой обрубок красного дерева; оби занял место по его правую руку, Риго по левую, на двух бархатных подушках, как бы украшавших трон повелителя. Оби скрестил руки на груди и, казалось, погрузился в глубокое раздумье; Биасу и Риго жевали табак. К генерал-майору подошел адъютант с вопросом, начинать ли смотр войск, но в это время ко входу в пещеру с яростными криками подошли три шумных ватаги негров. Каждая из них вела по пленнику, чтобы отдать их в распоряжение Биасу, и не потому, что они думали, будто Биасу может помиловать их, но желая узнать, какому роду смерти ему будет угодно предать несчастных. Это подтверждали их зловещие крики: «Смерть! Смерть! Muerte! Muerte!» Некоторые из них кричали: «Death! Death!» — вероятно, это были английские негры из банды Букмана, успевшие присоединиться к испанским и французским неграм Биасу. Mariscal de campo, махнув рукой, приказал им замолчать и велел подвести трех пленников ко входу в пещеру. Я с удивлением узнал двоих: один был «гражданин генерал» С\*\*\* — тот филантроп, состоящий в переписке со всеми негрофилами мира, который на совете у губернатора предложил такой жестокий план усмирения негров. Другой был подозрительный плантатор, который выказывал такое отвращение к мулатам, хотя белые причисляли его к ним. Третий, видимо, принадлежал к группе «мелких белых»: на нем был кожаный фартук, а рукава были засучены выше локтя. Все трое были пойманы поодиночке, когда они пытались укрыться в горах.

«Мелкого белого» стали допрашивать первым.

— Ты кто такой? — спросил его Биасу.

— Я Жан Белен, плотник госпиталя Святых отцов в Капе.

Удивление, смешанное со стыдом, отразилось на лице «главнокомандующего побежденных стран».

— Жан Белен! — воскликнул он и закусил губу.

— Ну да, — ответил плотник, — ты что ж, меня не узнаешь?

— Сначала ты меня узнай и поклонись мне, — ответил mariscal de campo.

— Я не кланяюсь своему рабу, — ответил плотник.

— Своему рабу, негодяй! — воскликнул главнокомандующий.

— Ну да! — ответил плотник. — Конечно! Я твой первый хозяин. Ты делаешь вид, что не узнаешь меня. А ну-ка припомни, Жан Биасу, я продал тебя за тринадцать пиастров торговцу из Сан-Доминго.

Бешеная злоба исказила все черты Биасу.

— Смотри-ка! — продолжал плотник. — Ты, кажется, стыдишься, что был моим рабом? А разве не честь для Жана Биасу, что он принадлежал Жану Белену? Твоя родная мать, эта старая карга, частенько подметала мою мастерскую; но теперь я продал ее господину мажордому госпиталя Святых отцов; она такая развалина, что он дал мне за нее только тридцать два ливра, да еще шесть су впридачу. Вот и вся история — твоя и ее, но похоже, что вы теперь загордились, ваша братия негры и мулаты; ты, наверно, уж забыл то время, когда на коленях служил мастеру Жану Белену — плотнику из Капа.

Биасу слушал его со свирепой усмешкой, похожий на тигра, оскалившего зубы.

— Так! — сказал он.

Затем повернулся к неграм, которые привели мастера Белена, и сказал:

— Возьмите козлы, две доски и пилу и уведите этого человека. Жан Белен, плотник из Капа, благодари меня: я жалую тебя смертью, достойной плотника.

Его ужасный смех объяснил нам, какую чудовищную пытку он придумал, чтоб наказать гордость своего прежнего хозяина. Я задрожал; но Жан Белен и бровью не повел; он презрительно повернулся к Биасу.

— Да, — сказал он, — я должен тебя поблагодарить: я продал тебя за тринадцать пиастров, значит получил больше, чем ты стоишь.

Его утащили.

## XXXIII

Два другие пленника присутствовали, ни живы ни мертвы, при этом страшном прологе к их собственной трагедии. Их смиренный и испуганный вид резко отличался от несколько вызывающей смелости плотника; они дрожали с головы до ног.

Биасу оглядел их одного за другим своим хитрым взглядом; затем, с наслаждением растягивая их пытку, он затеял с Риго разговор о разных сортах табака, уверяя, что гаванский табак хорош только для сигар, а нюхать лучше всего табак испанский, того сорта, две бочки которого ему прислал покойный Букман, забравший их у г-на Лебатю, хозяина острова Черепахи. Затем он вдруг обратился к гражданину генералу С\*\*\* и резко спросил:

— А ты как думаешь?

При этом неожиданном обращении гражданин С\*\*\* затрепетал. Он ответил, заикаясь:

— Я полагаюсь, генерал, на мнение вашего превосходительства.

— Слова льстеца! — возразил Биасу. — Я спрашиваю, каково твое мнение, а не мое. Знаешь ли ты лучший нюхательный табак, чем табак Лебатю?

— Нет, право не знаю, монсеньор, — ответил С\*\*\*, смущение которого потешало Биасу.

— Генерал! Превосходительство! Монсеньор! — подхватил Биасу нетерпеливо. — Ты, видно, аристократ!

— Ах, право нет! Уверяю вас! — воскликнул гражданин генерал. — Я настоящий патриот девяносто первого года и горячий негрофил...

— Негрофил, — перебил Биасу, — что это такое — негрофил?

— Это друг чернокожих, — пролепетал гражданин С\*\*\*.

— Быть другом чернокожих — этого мало, — строго возразил Биасу, — надо быть другом всех цветных.

Я, кажется, говорил уже, что Биасу был сакатра.

— Да, друг цветных, это я и хотел сказать, — ответил смиренно негрофил. — Я переписываюсь с самыми известными сторонниками негров и мулатов.

Биасу, довольный тем, что может унизить белого, снова прервал его:

— «Негров, мулатов!»... Что это значит? Ты что же, пришел сюда, чтобы оскорблять нас этими ненавистными кличками, выдуманными белыми из презрения к нам? Здесь вас окружают только люди черные и цветные, понимаете, господин колонист?

— Это дурная привычка, укоренившаяся с детства, — ответил С\*\*\*, — простите меня, я никак не хотел оскорбить вас, монсеньор.

— Оставь в покое «монсеньора», я уже сказал тебе, что не люблю эти аристократические замашки!

С\*\*\* хотел еще раз извиниться и начал, заикаясь, бормотать новое объяснение:

— Если бы вы меня знали, гражданин...

— Гражданин! За кого ты меня принимаешь? — сердито закричал Биасу. — Я ненавижу этот якобинский жаргон! Уж не якобинец ли ты, чего доброго? Не забывай, что ты говоришь с главнокомандующим подданных короля! Гражданин! Какова наглость!

Бедный негрофил не знал теперь, как ему и говорить с этим человеком, который одинаково отвергал и титул монсеньора, и звание гражданина, и язык аристократов, и язык патриотов; он был совсем подавлен. Биасу, только притворявшийся взбешенным, испытывал жестокое наслаждение при виде его замешательства.

— Увы, — сказал, наконец, гражданин генерал, — вы очень плохого мнения обо мне, благородный защитник священных прав половины рода человеческого.

Не зная, как именовать этого начальника, отвергавшего все титулы, он прибег к одной из тех звучных перифраз, которыми революционеры часто заменяют имя или звание тех, к кому они обращаются в своих речах.

Биасу пристально посмотрел на него и спросил:

— Значит, ты любишь черных и цветных людей?

— Люблю ли? — воскликнул гражданин С\*\*\*. — Да я переписываюсь с Бриссо и...

Биасу перебил его, посмеиваясь:

— Ха! ха! Я счастлив, что вижу в тебе друга нашего дела. Если так, ты должен проклинать подлых колонистов, которые ответили на наше справедливое восстание самыми жестокими казнями; ты должен считать, как и мы, что не черные, а белые — настоящие бунтовщики, раз они возмутились против природы и человечества. Ты должен ненавидеть эти чудовища!

— Я их ненавижу! — ответил С\*\*\*.

— В таком случае, — продолжал Биасу, — что ты скажешь о человеке, который недавно, пытаясь подавить движение невольников, выставил на кольях пятьдесят отрубленных черных голов по обеим сторонам аллеи, ведущей в его жилище?

Бледное лицо С\*\*\* совершенно помертвело.

— Что ты скажешь о белом, который предложил опоясать город Кап цепью из невольничьих голов?

— Смилуйтесь надо мной! — воскликнул гражданин С\*\*\* в ужасе.

— Разве я угрожаю тебе? — холодно ответил Биасу. — Дай мне закончить... Цепью из голов, которая протянулась бы от форта Пиколе до мыса Караколь? Ну, что ты скажешь об этом? Отвечай!

Слова Биасу: «Разве я угрожаю тебе?» — придали некоторую надежду гражданину С\*\*\*: он подумал, что, быть может, Биасу только слышал об этих страшных злодеяниях, но не знает, кто совершил их, и ответил с некоторой твердостью, чтобы отвести всякое подозрение, которое могло бы повредить ему:

— Я считаю, что это зверское преступление.

Биасу усмехнулся.

— Так! А какому наказанию подверг бы ты виновного?

Тут несчастный С\*\*\* растерялся.

— Что же ты? Друг ты черным или нет?

Из двух возможностей негрофил выбрал менее опасную; не замечая никакой угрозы в глазах Биасу, он сказал слабым голосом:

— Виновный заслуживает смерти.

— Прекрасный ответ, — сказал спокойно Биасу и выплюнул табак, который он жевал.

Его равнодушный вид придал некоторую уверенность несчастному негрофилу, и он сделал новую попытку рассеять подозрения, которые могли еще тяготеть над ним.

— Никто не желает успеха вашему делу так горячо, как я! — воскликнул он. — Я переписываюсь с Бриссо и Прюно де Пом-Гуж во Франции; Мегоу в Америке; с Петером Паулюсом в Голландии; с аббатом Тамбурини в Италии...

Он продолжал угодливо развертывать длинный список своих филантропических связей, который всегда приводил с удовольствием, а особенно полно представил при иных обстоятельствах и с совсем иной целью в доме губернатора де Бланшланд, как вдруг Биасу прервал его:

— Эй, ты! Какое мне дело до всех твоих корреспондентов! Ты лучше скажи мне, где твои магазины, и склады; моя армия нуждается в боевых припасах. У тебя, наверное, богатые плантации и крупная торговля, раз ты переписываешься со всеми торговцами на свете.

Гражданин С\*\*\* осмелился сделать робкое возражение.

— Это не торговцы, герой человечества, а философы, филантропы и негрофилы.

— Ну вот, — сказал Биасу, качая головой, — теперь он снова принимается за свои чертовски непонятные слова. Слушай, если у тебя нет ни складов, ни магазинов для грабежа, тогда на что ты годишься?

В этом вопросе гражданину С\*\*\* почудился проблеск надежды, и он жадно ухватился за него.

— Доблестный полководец, — воскликнул он, — есть ли у вас в армии экономист?

— Это еще что такое? — спросил Биасу.

— Экономист, — ответил пленник с таким пафосом, какой только позволял ему страх, — это самый необходимый человек, единственный, кто определяет материальные ресурсы страны, установив их сравнительную ценность; кто их располагает в порядке их значения, группирует согласно их ценности; кто, обогащая и совершенствуя их, согласует источники богатств с достигнутыми результатами; кто умело распределяет их, направляя подобно живительным ручейкам в широкую реку общественной пользы, которая в свою очередь вливает свои воды в море всеобщего процветания.

— Caramba![[77]](#footnote-77) — воскликнул Биасу, наклоняясь к оби. — Какого дьявола он хочет сказать всеми этими словами, нанизанными одно на другое, точно бусы на ваших четках?

Оби презрительно пожал плечами, делая вид, что не понимает. Между тем гражданин С\*\*\* продолжал:

— ...Я изучил... соизвольте выслушать меня, доблестный вождь храбрых борцов за возрождение Сан-Доминго, я изучил великих экономистов Тюрго, Рейналя и Мирабо — друга человечества. Я применял их теории на практике. Я знаю науки, необходимые для управления королевствами и всякими странами...

— Экономист не экономен в словах! — заметил Риго со своей вкрадчивой и насмешливой улыбкой.

Биасу воскликнул:

— Скажи-ка, болтун! Разве у меня есть королевства? И какими это странами я управляю?

— Пока еще нет, о великий человек! — ответил С\*\*\*. — Но они могут быть. Кроме того, моя наука, оставаясь на той же высоте, вникает и в подробности управления армией.

Биасу снова резко прервал его.

— Я не управляю моей армией, господин плантатор, я командую ею.

— Прекрасно, — заметил гражданин С\*\*\*, — вы будете генералом, а я буду интендантом. У меня есть специальные знания по скотоводству...

— Ты, может, думаешь, что мы разводим скот? — спросил Биасу посмеиваясь. — Нет, мы его едим. Если не хватит скота во французской колонии, я перейду холмы на границе и заберу испанских быков и баранов, которые пасутся на широких равнинах Котюи, Беги, Сант-Яго и на берегах Йуны; если мне понадобится, я доберусь и до тех, что пасутся на Саманском полуострове и за горами Сибос, от устья реки Нейбе и дальше за границами испанского Сан-Доминго. Кстати, я буду очень рад наказать проклятых испанских плантаторов; это они выдали Оже! Видишь, меня нисколько не пугает недостаток продовольствия, и мне не нужна твоя «самая необходимая» наука!

Это решительное заявление поставило в тупик бедного экономиста; однако он попытался ухватиться еще за одну соломинку.

— Я изучал не только способы разведения скота. У меня еще много специальных знаний, которые могут быть вам очень полезны. Я покажу вам, как добывать смолу и каменный уголь.

— На что мне они? — ответил Биасу. — Когда мне нужен уголь, я сжигаю три лье леса.

— Я укажу вам, для чего годится каждая порода дерева, — продолжал пленник: — эбеновое дерево и сабьекка — для корабельных килей, яба — для гнутых частей; ирга — для остова судна; хакама, гайак, бокаутовое дерево, кедры, акома...

— Que te lleven todos los demonios de los diez у siete infernos![[78]](#footnote-78) — закричал Биасу, выведенный из терпения.

— Что вы сказали, милостивый повелитель? — спросил, весь дрожа, экономист, не понимавший по-испански.

— Слушай, — сказал Биасу, — не нужно мне кораблей. В моей свите есть только одна свободная должность, но не место дворецкого, а место лакея. Подумай, senor filosofo[[79]](#footnote-79) подходит ли она тебе. Ты должен прислуживать мне на коленях, подавать мне трубку, калалу[[80]](#footnote-80) и черепаховый суп и носить за мной опахало из перьев попугая или павлина, как вот эти два пажа. Ну, отвечай! Хочешь быть моим лакеем?

Гражданин С\*\*\*, думавший только о том, как бы спасти свою жизнь, склонился до земли, стараясь всеми способами выразить свою радость и благодарность.

— Значит, ты согласен? — спросил Биасу.

— Можете ли вы сомневаться в этом, мой великодушный господин? Я, ни минуты не колеблясь, приму вашу высокую милость и почту за честь служить вашей особе!

При этом ответе насмешливое хихиканье Биасу перешло в оглушительный хохот. Он скрестил руки, поднялся с торжествующим видом и, оттолкнув ногой склоненную перед ним голову белого, громко воскликнул:

— Я очень рад, что увидел, до чего может дойти низость белых, после того как нагляделся, до чего доходит их жестокость! Гражданин С\*\*\*, тебе я обязан этим двойным примером. Я знаю тебя! Неужели ты был настолько глуп, что этого не заметил? Это ты руководил казнями в июне, июле и августе; это ты выставил головы пятидесяти негров на кольях вдоль аллеи, ведущей к твоему дому, вместо пальм; это ты предложил зарезать пятьсот негров, оставшихся после восстания в твоих руках, и окружить город Кап цепью из невольничьих голов от форта Пиколе до мыса Караколь. Тогда, если б ты мог, ты снял бы мне голову в качестве трофея, а теперь ты был бы счастлив, если б я захотел взять тебя в лакеи. Нет! Нет! Я больше забочусь о твоей чести, чем ты сам; я спасу тебя от такого позора. Готовься к смерти.

Негрофил, онемев от ужаса, рухнул, как подкошенный, к его ногам. Биасу подал знак, и негры оттащили несчастного ко мне.

## XXXIV

— Ну, теперь твой черед! — сказал начальник, поворачиваясь к последнему пленнику, колонисту, которого белые подозревали в том, что у него «смешанная кровь», и который вызвал меня на дуэль за это оскорбление.

Громкие крики мятежников заглушили его ответ. «Muerte! muerte! Смерть! Смерть! Death! Touye! touye!» — вопили все, скрежеща зубами и грозя кулаками несчастному пленнику.

— Генерал, — сказал один из мулатов, говоривший свободнее других, — это белый; он должен умереть!

Злосчастный плантатор, размахивая руками, изо всех сил старался перекричать толпу и, наконец, добился, что его услышали.

— Нет, нет, господин генерал, нет, братья мои, я не белый! Это гнусная клевета! Я мулат, у меня смешанная кровь, как и у вас. Моя мать негритянка, как ваши матери и сестры!

— Он врет! — кричали разъяренные негры. — Это — белый. Он всегда ненавидел черных и цветных!

— Никогда! — кричал пленник. — Я ненавижу только белых! Я — ваш брат! Я всегда говорил, как и вы: «Negre сe blan, blan ce negre».[[81]](#footnote-81)

— Ложь! Ложь! — кричала толпа. — Touye blan! Touye blan![[82]](#footnote-82)

Несчастный продолжал твердить жалобным голосом:

— Я мулат! Я ваш брат по крови!

— Докажи, — холодно сказал Биасу.

— Я докажу, — ответил тот. — Белые всегда презирали меня.

— Может быть, это и так, — заметил Биасу, — но лишь за то, что ты наглец.

Молодой мулат горячо обратился к колонисту:

— Белые презирали тебя, это верно, но ты платил за это ненавистью к цветным, к которым они тебя причисляли. Мне даже говорили, будто ты вызвал на дуэль белого за то, что он упрекнул тебя в принадлежности к нашему племени.

В толпе раздался ропот возмущения, и крики: «Смерть пленнику!» стали еще яростнее, совсем заглушив слова оправдывавшегося колониста, который, бросив на меня искоса растерянный и умоляющий взгляд, повторял рыдая:

— Это клевета! Для меня нет большего счастья, большей чести, чем принадлежать к черным. Я мулат!

— Если б ты и вправду был мулатом, — заметил спокойно Риго, — ты не употреблял бы этого слова.[[83]](#footnote-83)

— Увы! Я сам не знаю, что говорю! — воскликнул несчастный. — Господин главнокомандующий, доказательством моей смешанной крови может служить вот этот темный ободок у меня вокруг ногтей.[[84]](#footnote-84)

— Я не обладаю искусством господина капеллана, который умеет угадывать, кто ты, по твоей руке. Но слушай: часть моих солдат обвиняет тебя в том, что ты белый, другая — в том, что ты предаешь своих братьев. Если это так, ты должен умереть. Ты утверждаешь, что принадлежишь к нашему племени и никогда не отрекался от него. У тебя остается только одно средство доказать свои слова и избежать смерти.

— Какое, господин генерал, какое? — поспешно спросил колонист. — Я готов!

— Вот какое, — холодно ответил Биасу. — Возьми этот кинжал и заколи этих двух белых пленников.

И он указал на нас взглядом и движением руки. Колонист в ужасе отступил перед кинжалом, который Биасу протянул ему с дьявольской усмешкой.

— Ну что ж, — сказал начальник, — ты колеблешься? Однако это единственное средство доказать мне и моей армии, что ты не белый и что ты за нас. Ну, решайся же, из-за тебя я даром трачу время.

Глаза пленника дико блуждали. Он сделал шаг к кинжалу, потом остановился, отвернулся, и руки его безвольно опустились. Он весь дрожал.

— Ну! Мне некогда! — вскричал Биасу нетерпеливым и гневным голосом. — Выбирай: или ты убьешь их сам, или умрешь вместе с ними.

Колонист не двигался, точно окаменев.

— Прекрасно! — сказал Биасу, поворачиваясь к неграм. — Раз он не хочет быть палачом, пусть будет жертвой. Я вижу — он белый. Эй, вы, уведите его!

Негры подошли, чтобы схватить колониста. Это движение решило его выбор — быть убитым или убить. Трусость, доведенная до крайности, может перейти в храбрость. Он схватил кинжал, протянутый ему Биасу; затем, не давая себе времени подумать о том, что он собирается сделать, этот негодяй бросился, как тигр, на гражданина С\*\*\*, лежавшего возле меня.

Началась ужасная борьба. Негрофил, который после мучительного допроса, учиненного ему Биасу, погрузился в мрачное и тупое отчаяние, смотрел неподвижным взглядом на сцену, разыгрывавшуюся между начальником и плантатором, но был так поглощен страшной мыслью о предстоящих ему пытках, что, казалось, не понимал ее значения; однако, когда плантатор бросился на него и клинок блеснул у него над головой, близкая опасность разом пробудила его. Он вскочил на ноги и, схватив за руку убийцу, закричал жалобным голосом:

— Сжальтесь! Сжальтесь! Что вам надо от меня? Что я вам сделал?

— Вы должны умереть, сударь, — ответил тот, стараясь вырвать у него руку и растерянно глядя на свою жертву. — Пустите меня, я вам не сделаю больно!

— Умереть от вашей руки, — умолял экономист, — но за что? Пощадите меня! Вы, может, сердитесь, что я называл вас мулатом? Не убивайте меня, и я даю вам слово, что признаю вас белым. Да, да, вы белый, я буду говорить это повсюду, только сжальтесь надо мной!

Негрофил выбрал плохой способ защиты.

— Молчи! Молчи! — в бешенстве закричал мулат, боясь, как бы негры не услышали этих слов.

Но тот продолжал вопить, что знает его как белого, и самой чистой породы. Мулат сделал последнее усилие, чтоб заставить его замолчать, с силой отвел от себя цеплявшиеся за него руки и пропорол кинжалом одежду гражданина С\*\*\*. Несчастный, почувствовав укол стального острия, с яростью впился зубами в державшую кинжал руку.

— Злодей! Предатель! Ты убиваешь меня!

Он бросил взгляд на Биасу.

— Мститель за человечество, заступитесь!

Но убийца крепко нажал на рукоятку кинжала. Струя крови залила ему руку и брызнула в лицо. Ноги несчастного негрофила внезапно подкосились, руки повисли, как плети, глаза потускнели, из груди его вырвался глухой стон. Он упал мертвый.

## XXXV

При виде этой сцены, в которой я готовился скоро сыграть свою роль, меня охватил леденящий ужас. «Мститель за человечество» бесстрастно созерцал эту борьбу своих жертв. Когда все было кончено, он повернулся к своим перепуганным пажам:

— Принесите мне другого табаку, — сказал он и принялся спокойно жевать его.

Оби и Риго сидели неподвижно, и даже негры вокруг, казалось, со страхом смотрели на жуткое зрелище, которое показал им их главарь.

Однако оставался еще один белый, которого надо было заколоть, то есть я; пришла и моя очередь. Я взглянул на злодея, который должен был стать моим палачом. Он был жалок. Губы его посинели, зубы стучали, все тело содрогалось, он с трудом держался на ногах; порой он бессознательно подносил руку ко лбу, чтобы стереть с него кровь, и, как помешанный, смотрел на лежавшее у его ног еще трепещущее тело, не в силах оторвать от него дикого взгляда.

Я ждал минуты, когда он завершит свое дело и прикончит меня. Я оказался в странном положении перед этим человеком — недавно он чуть не убил меня, чтобы доказать, что он белый; теперь он собирался меня убить, чтобы доказать, что он мулат.

— Ну ладно, — сказал Биасу, — ты молодец, я доволен тобой, дружище! — Он взглянул на меня и добавил: — Второго ты можешь оставить. Ступай. Мы объявляем тебя своим братом и назначаем палачом при нашей армии.

При этих словах начальника из рядов войска выступил негр, три раза поклонился Биасу и воскликнул на своем наречии, которое я передаю вам по-французски, чтоб вам было понятнее:

— А как же я, господин генерал?

— Что ты? О чем ты говоришь? — спросил Биасу.

— Разве вы ничего не сделаете для меня, господин генерал? — сказал негр. — Вот вы даете повышение этому белому псу, который убил, чтобы его признали нашим. Неужели вы не сделаете того же и для меня? Ведь я хороший черный?

Эта неожиданная просьба, казалось, привела Биасу в затруднение; он наклонился к Риго, и начальник отряда из Кэй сказал ему по-французски:

— Его просьбу нельзя удовлетворить. Постарайтесь отделаться от него.

— Ты хочешь получить повышение? — обратился Биасу к «хорошему» негру. — Ну что ж, я согласен. Какой чин ты хотел бы получить?

— Я хотел бы быть oficial.[[85]](#footnote-85)

— Офицером? — спросил главнокомандующий. — Так! А каковы твои заслуги, имеешь ли ты право получить эполеты?

— Это я, — сказал негр напыщенно, — в начале августа поджег поместье Лагосета. Это я убил плантатора Клемана и носил ни пике голову его сахаровара. Я зарезал десять белых женщин и семь маленьких детей; один из них даже служил знаменем храбрым воинам Букмана. Позже я заживо сжег четыре семьи колонистов в форте Галифэ, заперев их в комнате на двойной затвор. Мой отец был колесован в Капе, моего брата повесили в Рокру, а меня самого чуть не расстреляли. Я сжег три кофейных плантации, шесть плантаций индиго, двести участков сахарного тростника; я убил своего господина Ноэ и его мать...

— Избавь нас от перечисления твоих подвигов, — сказал Риго, который скрывал свою жестокость под напускным добродушием; он был кровожаден, так сказать, соблюдая приличия, и не выносил цинизма разбойников.

— Я мог бы привести еще много примеров, — ответил негр с гордостью, — но вы, наверно, считаете, что и этого достаточно, чтоб заслужить звание oficial и носить на куртке золотые эполеты, вот как у этих наших товарищей.

И он указал на адъютантов и офицеров штаба Биасу. Главнокомандующий как будто задумался на минуту, а затем с важностью обратился к негру:

— Я был бы очень рад дать тебе офицерский чин; я доволен твоей службой; но для этого нужно еще кое-что. Знаешь ли ты латынь?

Разбойник оторопел и вытаращил глаза.

— Простите, что вы сказали, господин генерал?

— Я спросил, знаешь ли ты латынь? — с живостью ответил Биасу.

— Латынь?.. — повторил ошеломленный негр.

— Да, да, да, латынь! Знаешь ли ты латынь? — продолжал хитрый начальник. И, указав на знамя, где был написан стих из псалма «In exitu Israel de Aegypto»,[[86]](#footnote-86) прибавил: — Объясни нам, что значат эти слова.

Негр, в полном недоумении, молча стоял перед начальником, машинально теребя край своей набедренной повязки и переводя испуганные глаза со знамени на генерала и с генерала на знамя.

— Ответишь ты когда-нибудь? — нетерпеливо воскликнул Биасу.

Негр почесал в голове, несколько раз молча открыл и закрыл рот и, наконец, смущенно пробормотал:

— Никак не пойму, о чем вы говорите, господин генерал.

Лицо Биасу внезапно выразило возмущение и гнев.

— Этакий дурень! — воскликнул он. — Как? Ты хочешь быть офицером, а сам не знаешь латыни!

— Но, господин генерал... — пролепетал негр, дрожа и заикаясь.

— Молчи! — вскричал Биасу, негодование которого, казалось, все возрастало. — Я и сам не знаю, почему не велю расстрелять тебя на месте за твое нахальство! Вы представляете себе, Риго, такого нелепого офицера, который даже не знает латыни? Так вот, дурень, раз ты не понимаешь, что написано на этом знамени, я тебе объясню. In exitu — ни один солдат, Israel — не знающий латыни, de Aegypto — не может быть офицером. Правильно, господин капеллан?

Маленький колдун утвердительно кивнул головой. Биасу продолжал:

— Тот брат, которого я назначил палачом при нашей армии и которому ты завидуешь, знает латынь.

Он повернулся к новому палачу:

— Правда, дружище? Докажи этому невежде, что ты знаешь больше его. Что значит «Dominus vobiscum»?

Несчастный темнокожий колонист, пробужденный от своего мрачного раздумья этим грозным голосом, поднял голову, и хотя он еще не пришел в себя после совершенного им подлого убийства, но страх заставил его подчиниться. Было что-то странное в лице этого человека, подавленного угрызениями совести, когда он старался отыскать далекое, школьное воспоминание среди своих мыслей, полных ужаса, и в скорбном тоне, которым он произнес детское объяснение:

— Dominus vobiscum... это значит: господь да будет с вами!

— Et cum spiritu tuo,[[87]](#footnote-87) — добавил торжественно таинственный колдун.

— Amen,[[88]](#footnote-88) — отозвался Биасу. Потом снова заговорил сердитым голосом, пересыпая свои притворно гневные речи латинскими выражениями, перевранными на манер Сганареля, чтоб убедить чернокожих в учености их главаря. — Ступай обратно и стань последним в своем ряду! — крикнул он честолюбивому негру. — Sursum corda.[[89]](#footnote-89) А впредь не смей и думать о том, чтобы подняться до чина твоих начальников, знающих латынь, orate, fratres,[[90]](#footnote-90) или я велю тебя повесить! Bonus, bona, bonum![[91]](#footnote-91)

Перепуганный и вместе с тем восхищенный негр вернулся в свой ряд, потупившись от стыда, под смех и крики всех товарищей, возмущенных его необоснованными притязаниями и с восторгом взиравших на своего ученого главнокомандующего.

Несмотря на то, что в этой сцене было много шутовства, она подтвердила мое высокое мнение о ловкости Биасу.

Смешное средство,[[92]](#footnote-92) которое он применил с таким успехом, чтобы пресечь честолюбивые домогательства, всегда распространенные среди мятежников, открыло мне сразу и всю меру глупости негров и редкую ловкость их предводителя.

## XXXVI

Между тем наступило время almuerzo[[93]](#footnote-93) Биасу. Генерал-майору войск его католического величества принесли большой щит черепахи, в котором дымилось особое, обильно приправленное ломтями сала кушанье, olla podrida, где черепашье мясо заменяло carnero,[[94]](#footnote-94) а картофель — garganzas.[[95]](#footnote-95) В этом puchero[[96]](#footnote-96) плавал громадный кочан караибской капусты. По обеим сторонам черепашьего щита, служившего одновременно и котлом и миской для еды, стояли две чаши из скорлупы кокосового ореха, полные изюма, кусков sandias,[[97]](#footnote-97) ямса и винных ягод; это был postre.[[98]](#footnote-98) Маисовый хлеб и вино в запечатанном бурдюке дополняли это пиршество. Биасу вытащил из кармана несколько долек чесноку и натер себе хлеб; затем, не приказав даже убрать еще теплый труп, лежавший перед ним, взялся за еду, пригласив Риго к своему столу. Аппетит у него был поистине устрашающий.

Оби не принял участия в их трапезе. Я понял, что он, как и все его собратья по ремеслу, никогда не ест на глазах у людей, дабы внушить неграм, что он существо сверхъестественное и не нуждается в пище.

Во время завтрака Биасу приказал одному из своих адъютантов начинать смотр, и войска мятежников в полном порядке открыли шествие мимо пещеры. Первыми прошли негры Красной Горы; их было около четырех тысяч, они шли небольшими плотными взводами, во главе со своими начальниками, одетыми, как я уже говорил, в ярко-красные штаны или обвязанными красными поясами. Это были высокие и сильные негры, вооруженные ружьями, топорами и саблями; многие несли луки, стрелы и длинные копья, которые они сами выковали себе, за неимением другого оружия. У них не было знамени, и они шли подавленные и молчаливые.

Глядя на этот отряд, Биасу наклонился к Риго и сказал ему на ухо по-французски:

— Когда же, наконец, картечь Бланшланда и де Рувре избавит меня от этих разбойников с Красной Горы? Я их ненавижу; почти все они из племени конго! К тому же они умеют убивать только в бою; они следуют примеру их болвана начальника, их идола — Бюг-Жаргаля, этого сумасшедшего юнца, который строит из себя великодушного героя. Вы его не знаете, Риго? И никогда не узнаете, надеюсь. Белые взяли его в плен и освободят меня от него, как уже освободили от Букмана.

— Кстати, о Букмане, — ответил Риго. — Вон идут беглые чернокожие Макайи, а в их рядах я вижу того негра, которого Жан-Франсуа прислал к вам с вестью о смерти Букмана. Знаете, ведь этот человек может разрушить все впечатление от пророчества оби о смерти их вождя, если он расскажет, что его на полчаса задержали перед лагерем и что он сообщил мне эту новость до того, как вы велели привести его к себе.

— Diabolo! — воскликнул Биасу. — Вы правы, дорогой мой; надо заткнуть рот этому человеку. Подождите!

И он крикнул во весь голос:

— Макайя!

Начальник беглых негров подошел и отдал честь своим мушкетоном с широким дулом, в знак уважения.

— Выведите из ваших рядов вон того черного, — сказал Биасу, — ему здесь не место!

Это был гонец от Жана-Франсуа. Макайя подвел его к главнокомандующему, и лицо Биасу тотчас же приняло гневное выражение, которое так хорошо ему удавалось.

— Кто ты такой? — спросил он у оробевшего негра.

— Господин генерал, я чернокожий.

— Caramba! Я и сам это вижу! Но как твое имя?

— Моя боевая кличка — Вавелан; а мой покровитель среди блаженных — святой Саба, дьякон и великомученик; его день празднуется за двадцать дней до рождества христова.

Биасу прервал его:

— Как же ты посмел явиться на парад и ходить среди воинов с блестящим оружием и в белых портупеях с этой саблей без ножен, в рваных штанах и весь в грязи?

— Господин генерал, я не виноват, — ответил негр, — генерал-адмирал Жан-Франсуа послал меня к вам с известием о смерти начальника английских черных отрядов; правда, моя одежда порвана, а ноги в грязи, но это потому, что я бежал сломя голову, чтоб скорей доставить вам это известие; а в лагере меня задержали и...

Биасу нахмурил брови.

— Речь не об этом, gavacho![[99]](#footnote-99) А о том, что ты имел наглость явиться на смотр в таком растерзанном виде. Поручи душу своему покровителю, святому Сабе, дьякону и великомученику. Поди скажи, чтоб тебя расстреляли!

Тут я еще раз убедился, как велика была моральная власть Биасу над мятежниками. Несчастный, которому было велено передать приказ о собственной казни, не посмел возразить ни слова; он опустил голову, скрестил руки на груди, три раза поклонился своему безжалостному судье, затем преклонил колени перед оби, который с важностью дал ему краткое отпущение грехов, и вышел из пещеры. Спустя несколько минут раздался залп, возвестивший Биасу, что негр исполнил его приказание и умер.

Тогда, отделавшись от беспокойства, начальник повернулся к Риго с блестевшими от удовольствия глазами и с торжествующей усмешкой, как бы говоря: «Полюбуйтесь!»[[100]](#footnote-100)

## XXXVII

Тем временем смотр продолжался. Войско, поразившее меня несколько часов назад картиной необычайного беспорядка, теперь, построившись, имело не менее причудливый вид. Перед нами проходили то группы совершенно голых негров, вооруженных дубинками, томагавками, палицами, шедших под звуки рожков, как настоящие дикари; то батальоны мулатов, одетых в испанскую или английскую форму, хорошо вооруженных и дисциплинированных, шагавших в ногу под барабанную дробь; за ними следовали беспорядочные толпы негритянок и негритят с вилами и вертелами; старики негры, согнувшиеся под тяжестью старых ружей без курков и без стволов; гриотки в пестром тряпье; гриоты с отвратительными гримасами и телодвижениями, распевавшие бессвязные песни под аккомпанемент гитар, тамтамов и балафо. В этой странной процессии время от времени попадались сборные отряды замбо, марабу, сакатра, мамелюков, квартеронов, свободных мулатов, а также кочующие ватаги беглых негров, которые гордо шагали с блестящими карабинами в руках, волоча за собой тележки, нагруженные припасами, или отнятую у белых пушку, служившую им чаще трофеем, чем орудием, и распевали во все горло военные песни «Лагерь в Большой долине» и «Уа-Насэ». Над головами у них развевались знамена всех цветов со всевозможными девизами — белые, красные, трехцветные, с лилиями, с фригийским колпаком; на них пестрели надписи: «Смерть попам и аристократам!», «Да здравствует религия!», «Свобода и равенство!», «Да здравствует король!», «Долой метрополию!», «Viva Espana»,[[101]](#footnote-101) «Долой тиранов!» и т. д. Это поразительное смешение доказывало, что силы мятежников были лишь скоплением людей, не имеющих цели, и что у этой армии в умах царит такой же беспорядок, как и в рядах.

Проходя мимо пещеры, отряды склоняли знамена, а Биасу отвечал на приветствия. Каждому из них он говорил что-нибудь: делал выговор или хвалил; каждое его слово, строгое или одобрительное, люди встречали с благоговением и каким-то суеверным страхом.

Этот поток варваров и дикарей, наконец, иссяк. Признаться, это скопище разбойников, сначала развлекавшее меня, в конце концов стало мне в тягость. Между тем день угасал, и когда последние ряды проходили мимо пещеры, медно-красные лучи солнца освещали только гранитные вершины восточных гор.

## XXXVIII

Биасу казался задумчивым. По окончании смотра, когда он отдал последние приказания и все мятежники вернулись в свои шалаши, он обратился ко мне.

— Ну, молодой человек, — сказал он, — теперь ты получил полное представление о моем уме и могуществе. Настал твой час отправиться к Леогри и дать ему отчет обо всем.

— Не от меня зависело, чтоб он наступил раньше, — ответил я холодно.

— Это верно, — сказал Биасу. Он на минуту замолчал, как будто для того, чтобы лучше разглядеть, какое впечатление произведут на меня его слова, а затем добавил: — Но от тебя зависит, чтобы этот час совсем не наступил.

— Как! — вскричал я с удивлением. — Что ты хочешь сказать?

— Да, — продолжал Биасу, — твоя жизнь в твоих руках: ты можешь спасти ее, если захочешь.

Эта вспышка милосердия, первая и, вероятно, последняя в жизни Биасу, показалась мне чудом. Оби, удивленный не меньше меня, вскочил со своего места, где он столько времени просидел в созерцательной позе, как индийский факир. Он стал перед главнокомандующим и сказал, гневно возвысив голос:

— Que dice el exelentissimo senor mariscal de campo?[[102]](#footnote-102) Разве он забыл то, что обещал мне? Ни он, ни сам bon Giu не могут теперь распоряжаться этой жизнью: она принадлежит мне!

В эту минуту в злобном голосе мерзкого человечка мне снова послышалось что-то знакомое; но это ощущение промелькнуло, ничего не осветив в моей памяти.

Биасу спокойно поднялся с места, тихонько поговорил с оби и показал ему на черное знамя, которое я заметил еще раньше; после чего колдун медленно опустил голову в знак согласия. Оба уселись на свои прежние места, в прежних позах.

— Послушай, — сказал мне Биасу, вынимая из кармана куртки другое письмо от Жана-Франсуа, спрятанное им туда раньше, — наши дела плохи; Букман только что погиб в бою. Белые истребили две тысячи повстанцев в районе Бухты. Колонисты продолжают укрепляться и усеивать долину новыми военными постами. Мы по собственной вине упустили возможность овладеть городом Кап, и теперь нам долго не представится подобный случай. На востоке главная дорога перерезана рекой; чтобы защитить переправу, белые поставили в этом месте батарею на понтонах, и на обоих берегах реки раскинули по небольшому лагерю. На юге есть проезжая дорога, пересекающая гористую местность под названием Верхний Мыс; они ее заняли войсками и артиллерией. Со стороны равнины их позиции защищены еще крепким палисадом, над которым работали все жители, и укреплены рогатками. Следовательно, Кап недоступен для нас. Наша засада в ущелье «Усмиритель Мулатов» сорвалась. Ко всем нашим неудачам прибавилась сиамская лихорадка, опустошающая лагерь Жана-Франсуа. Вследствие всего этого генерал-адмирал Франции[[103]](#footnote-103) считает, и мы разделяем его мнение, что следует начать переговоры с губернатором Бланшландом и колониальным собранием. Вот письмо, которое мы хотим послать собранию по этому поводу. Слушай!

«Господа депутаты!

Великие несчастья обрушились на эту богатую и крупную колонию; они не миновали и нас, и нам больше нечего сказать в свое оправдание. Когда-нибудь вы поймете наше положение и воздадите нам полную справедливость. Мы должны попасть под всеобщую амнистию, провозглашенную королем Людовиком XVI для всех без различия.

В противном случае, так как король Испании — добрый король, который обращается с нами очень хорошо и оказывает нам всяческие награды, мы будем по-прежнему усердно и преданно служить ему.

В законе от 28 сентября 1791 года мы видим, что Национальное собрание и король дали вам право вынести окончательное решение о положении невольников и о политических правах цветных народов. Мы будем защищать декреты Национального собрания и ваши до последней капли крови, когда они будут оформлены как полагается. Было бы даже хорошо, если бы вы огласили в постановлении, утвержденном господином генералом, что вы намерены заняться судьбой рабов.

Невольники, узнав через своих вождей, которым вы пришлете это постановление, что вы заботитесь о них, были бы удовлетворены, и нарушенное равновесие восстановилось бы очень скоро.

Однако не рассчитывайте, господа депутаты, что мы согласимся взяться за оружие по воле революционных собраний. Мы подданные трех королей: короля Конго, прирожденного владыки всех черных, короля французского — нашего отца, и короля Испании — нашей матери. Эти три короля — потомки тех, кто, следуя за звездой, пришли поклониться богочеловеку. Если б мы служили революционным собраниям, нас могли бы вовлечь в войну против наших братьев, подданных этих трех королей, которым мы поклялись в верности.

К тому же мы не понимаем, что значит воля народа, потому что с тех пор, как стоит свет, мы выполняли только волю королей. Властитель Франции нас любит, король Испании всегда выручает нас. Мы помогаем им, а они помогают нам; на том стоит человечество. Впрочем, если бы вдруг у нас не стало этих величеств, мы тотчас нашли бы себе короля.

Таковы наши намерения, и на этих условиях мы согласны заключить мир.

Подписали: Жан-Франсуа, генерал; Биасу, генерал-майор; Депре, Манзо, Тусен[[104]](#footnote-104), Обер — комиссары ad hoc[[105]](#footnote-105)».[[106]](#footnote-106)

— Ты видишь, — сказал мне Биасу, прочитав это произведение негритянской дипломатии, запомнившееся мне почти слово в слово, — ты видишь, что мы миролюбивы. Теперь слушай, чего я хочу от тебя. Ни Жан-Франсуа, ни я не занимались в школах для белых, где обучают красивому слогу. Мы умеем драться, но не умеем писать. Однако мы не хотим, чтобы в нашем письме к собранию остались какие-нибудь обороты, которые могли бы вызвать высокомерные насмешки наших бывших господ. Ты, должно быть, изучил эту вздорную науку, которой нам не хватает. Исправь в нашей бумаге ошибки, над которыми будут издеваться белые; такой ценой ты купишь себе жизнь.

В этой роли исправителя орфографических ошибок в дипломатической переписке Биасу было что-то, возмущавшее мою гордость, и я не колебался ни минуты. К тому же, зачем была мне жизнь? Я отверг его предложение.

Он был, видимо, удивлен.

— Как! — вскричал он. — Ты предпочитаешь умереть, чем провести несколько черточек пером по куску пергамента?

— Да, — ответил я.

Мой отказ, по-видимому, привел его в затруднение. Немного подумав, он сказал мне:

— Послушай-ка, юный безумец, я не так упрям, как ты. Даю тебе сроку до завтрашнего вечера; поразмысли и послушайся меня; завтра перед заходом солнца тебя снова приведут ко мне. Смотри, выполни тогда мое приказание. Прощай, утро вечера мудреней. Подумай хорошенько, ведь смерть у нас — не просто смерть.

Смысл его последних слов, сопровождавшихся ужасным смехом, был совершенно ясен: пытки, которые Биасу обычно придумывал для своих жертв, служили тому красноречивым объяснением.

— Канди, уведите пленника, — продолжал Биасу, — отдайте его под охрану воинам Красной Горы; я хочу, чтобы он прожил еще сутки, а у других моих солдат, наверно, не хватит терпения дожидаться, пока пройдет двадцать четыре часа.

Мулат Канди, начальник его охраны, приказал связать мне руки за спиной. Один из солдат взял конец веревки, и мы вышли из пещеры.

## XXXIX

Когда необыкновенные события, волнения и катастрофы внезапно обрушиваются на вас среди счастливой и пленительно однообразной жизни, эти неожиданные потрясения, эти удары судьбы сразу пробуждают от сна душу, дремавшую в блаженном спокойствии. Однако налетевшее таким образом несчастье кажется нам не пробуждением, а лишь страшным сном. У человека, который был всегда счастлив, отчаяние начинается с изумления. Неожиданное бедствие похоже на взрыв бомбы; оно потрясает и вместе оглушает; а жуткий свет, который внезапно вспыхивает перед нашими глазами, не может заменить сияние дня. Люди, вещи, события принимают какой-то фантастический вид и проходят перед нами, как в сновидении. Все изменяется на небосклоне жизни — и атмосфера и перспектива; протечет немало времени, пока в наших глазах потухнет светлая картина нашего минувшего счастья, неотступно преследующая нас и постоянно встающая между нами и мрачным настоящим, меняя его краски и придавая какую-то обманчивость реальной жизни. И тогда самая действительность кажется нам невозможной и нелепой; мы верим с трудом в наше собственное существование, ибо, не видя вокруг себя ничего из того, что составляло прежде наше бытие, мы не понимаем, как все это могло исчезнуть, не захватив с собой и нас, и почему от всей нашей жизни сохранились только мы. Когда такое смятение души длится долго, оно омрачает рассудок и переходит в безумие — состояние, быть может, более счастливое, в котором жизнь для несчастного — лишь видение, а сам он — только тень.

## XL

Не знаю, господа, зачем я высказал вам эти мысли. Их трудно понять и трудно передать. Это надо перечувствовать. Я испытал это. Таково было мое состояние, когда охрана Биасу сдала меня неграм Красной Горы. Мне казалось, что одни призраки передали меня другим призракам, и я без сопротивления дал привязать себя за пояс к стволу большого дерева.

Они принесли мне несколько вареных картофелин, и я съел их, в силу врожденного инстинкта, который бог, по доброте своей, сохраняет в человеке даже в минуты сильного душевного потрясения.

Между тем наступила ночь; мои сторожа разошлись по шалашам, и только шестеро из них остались около меня; они сидели или лежали, опершись на локоть, вокруг большого костра, который разожгли, чтобы защитить себя от ночной свежести. Через несколько минут все крепко заснули.

Я был разбит от усталости, и это физическое изнеможение способствовало тому, что мысли, как в бреду, мутились у меня в голове. Я вспоминал длинную вереницу безмятежных дней, которые так недавно проводил подле Мари, не предвидя в будущем ничего, кроме вечного счастья. Я сравнивал их с только что прошедшим днем, когда передо мной произошло столько невероятных событий, как будто для того, чтобы заставить меня усомниться в их реальности, — днем, когда я был трижды приговорен к смерти и не был помилован. Я думал о моем близком будущем, об этом одном оставшемся дне, который не сулил мне ничего, кроме горя и смерти, к счастью недалекой. Временами мне казалось, что я борюсь с каким-то ужасным кошмаром. Я спрашивал себя, возможно ли, что все это случилось на самом деле; что меня окружает лагерь кровожадного Биасу; что Мари навсегда потеряна для меня и что пленник, охраняемый шестью дикарями, связанный и обреченный на верную смерть, — этот пленник, который стоит здесь, освещенный слабым пламенем костра разбойников, — и вправду я. И несмотря на все мои усилия, я не мог оторваться от неотступной, самой мучительной мысли, от мысли о Мари. Я стремился к ней всей душой и с мукой спрашивал себя, какая судьба постигла ее; я натягивал свои путы, как будто готовясь лететь ей на помощь, и все еще надеялся, что этот страшный сон рассеется и что бог не допустит, чтобы все ужасы, о которых я боялся даже подумать, стали уделом ангела, данного им мне в супруги. Цепь этих горестных мыслей привела меня к Пьеро, и я обезумел от ярости; жилы у меня на лбу вздулись, я чувствовал, что они готовы лопнуть; я проклинал, я ненавидел, я презирал себя за то, что хоть на минуту соединил свою любовь к Мари с дружбой к Пьеро; и, не стараясь объяснить себе, какая причина могла заставить его броситься в воды Большой реки, я плакал о том, что не убил его. Теперь он умер; я тоже скоро умру; я не жалел ни его жизни, ни моей, я жалел лишь о неудавшейся мести.

От слабости я впал в какое-то полудремотное состояние, а все эти душевные волнения продолжали терзать меня. Не знаю, сколько времени это длилось, но внезапно меня разбудил мужской голос, певший вдалеке, но очень ясно: «Yo que soy contrabandista». Я вздрогнул и открыл глаза; кругом было темно, негры спали, костер догорал. Голос смолк; я решил, что он почудился мне во сне, и снова опустил свои отяжелевшие веки. Но тут же быстро открыл глаза; голос раздался опять, гораздо ближе, и с грустью пропел куплет испанского романса:

En los campos de Ocana

Prisionero cai,

Me llevan a Cotadilla;

Desdichado fui![[107]](#footnote-107)

Теперь это был не сон. Это был голос Пьеро! Через минуту я услышал его рядом со мной, и над моим ухом прозвучал в безмолвии ночи знакомый мотив: «Yo que soy contrabandista». Ко мне подбежала собака и стала радостно тереться у моих ног: это был Раск. Я поднял глаза. Передо мной стоял негр, и свет от костра отбрасывал рядом с собакой его огромную тень: это был Пьеро. Жажда мести помутила мой разум; я замер и онемел от изумления. Я не спал. Значит, мертвые возвращаются! То был уже не сон — то было видение. Я с ужасом отвернулся. Увидев это, он опустил голову на грудь.

— Брат, — сказал он тихо, — ты обещал никогда не сомневаться во мне, если услышишь, что я пою эту песню; скажи, брат, разве ты забыл свое обещание?

Гнев вернул мне дар речи.

— Негодяй! — вскричал я. — Наконец-то я нашел тебя! Палач, убийца моего дяди, похититель Мари, как смеешь ты называть меня братом? Стой, не подходи ко мне!

Я забыл, что я крепко связан и не могу сделать почти ни одного движения. Невольно я опустил глаза на то место у пояса, где прежде висела моя шпага, словно хотел схватить ее. Это желание поразило его. Он был взволнован, но лицо его оставалось кротким.

— Нет, — сказал он, — нет, я не подойду к тебе. Ты несчастлив, я жалею тебя; а ты не жалеешь меня, хоть я еще несчастнее тебя.

Я пожал плечами. Он понял мой молчаливый упрек. Задумчиво посмотрев на меня, он сказал:

— Да, ты много потерял; но, поверь мне, я потерял больше тебя.

Между тем звук наших голосов разбудил стороживших меня негров. Заметив чужого, они быстро вскочили и схватились за оружие; но как только они разглядели Пьеро, они вскрикнули от радости и изумления и пали ниц перед ним, стукнув о землю лбом.

Но ни знаки уважения, которые оказывали Пьеро эти негры, ни Раск, подбегавший приласкаться то ко мне, то к своему хозяину и с беспокойством глядевший на меня, как бы удивляясь моему холодному приему, — ничто не трогало меня в эту минуту. Я был весь во власти своей злобы, бессильной из-за стягивавших меня узлов.

— О, как я несчастлив! — вскричал я, наконец, плача от бешенства в своих путах. — Я жалел, что этот негодяй сам воздал себе по заслугам; я думал, что он умер, и горевал о том, что не могу отомстить. И вот теперь он пришел издеваться надо мной; он стоит здесь живой, около меня, а я не могу доставить себе радость убить его! О! кто освободит меня от этих ненавистных веревок!

Пьеро повернулся к неграм, все еще склоненным перед ним.

— Товарищи, — сказал он, — развяжите пленника!

## XLI

Негры тотчас же повиновались. Они быстро перерезали стягивавшие меня веревки. Я был свободен, но не двигался. Теперь меня сковало удивление.

— Это не все, — продолжал Пьеро и, выхватив кинжал у одного из негров, протянул его мне со словами: — Исполни свое желание. Видит бог, я не хочу оспаривать твое право распоряжаться моей жизнью! Ты спас ее три раза, теперь она твоя; если хочешь убить меня — убей!

В его голосе не было ни упрека, ни горечи. В нем звучали только покорность и грусть.

Эта неожиданная возможность отомстить, данная мне тем, кого я жаждал покарать, казалась мне слишком странной и слишком доступной. Я чувствовал, что всей моей ненависти к Пьеро и всей моей любви к Мари недостаточно, чтобы толкнуть меня на убийство; к тому же, каковы бы ни были улики против него, какой-то внутренний голос настойчиво твердил мне, что враг и предатель не может так смело итти навстречу мести и наказанию. И наконец — признаться ли вам? — от этого необыкновенного человека исходило какое-то властное обаяние, против которого я не мог устоять даже в тот момент. Я оттолкнул кинжал.

— Несчастный! — воскликнул я. — Я хочу убить тебя в поединке, а не заколоть, как убийца. Защищайся!

— Мне защищаться? — ответил он удивленно. — Но против кого?

— Против меня!

Он смотрел на меня в глубоком изумлении.

— Против тебя! Это единственное, в чем я не могу тебе повиноваться. Ты видишь Раска? Я могу задушить его, он не будет сопротивляться; но я не могу заставить его напасть на меня, он не поймет. Я тебя не понимаю; я Раск для тебя.

И, помолчав, он добавил:

— Я вижу ненависть в твоих глазах, как ты видел ее когда-то в моих. Я знаю, что ты испытал много несчастий: твоего дядю убили, твои поля сожгли, твоих друзей зарезали, дома твои разграблены, наследство уничтожено. Но это сделали мои, а не я. Послушай, я как-то сказал тебе, что твои сделали мне много зла, а ты ответил мне, что это сделал не ты; как поступил я тогда?

Лицо его прояснилось; он думал, что я брошусь ему в объятья. Но я сурово смотрел на него.

— Ты не хочешь отвечать за то, что сделали мне твои, — сказал я ему гневно, — а не говоришь о том, что сделал мне ты сам!

— Но что же? — спросил он.

Я стремительно подошел к нему и спросил его громовым голосом:

— Где Мари? Что ты сделал с Мари?

При этом имени по лицу его пробежало темное облачко; он помолчал с минуту, как будто смутившись. Потом сказал:

— Мария! Да, ты прав... Но здесь нас слушает слишком много ушей.

Его смущение, слова: «Ты прав», снова разожгли адское пламя в моей душе. Мне казалось, что он уклоняется от ответа. Но он повернул ко мне свое открытое лицо и сказал с глубоким волнением:

— Не подозревай меня, заклинаю тебя! Я все скажу тебе, только не здесь. Люби меня так же, как я тебя, и верь мне.

Он на минуту остановился, чтоб посмотреть, какое впечатление произвели на меня его слова, и сказал мне ласково:

— Можно мне называть тебя братом?

Но гнев и ревность охватили меня с новой силой, и эти ласковые слова, казавшиеся мне лицемерными, только усилили их.

— Ты смеешь напоминать мне прошлое? Неблагодарный негодяй!.. — воскликнул я.

Он прервал меня. Крупные слезы блестели у него на глазах.

— Не я неблагодарный!

— Так говори! — вскричал я запальчиво. — Что ты сделал с Мари?

— Не здесь, не здесь! — ответил он. — Тут слушают нас чужие уши. К тому же ты, конечно, не поверишь мне на слово, а время не терпит. Вот уже светает, и мне надо увести тебя отсюда. Послушай, все погибло, если ты сомневаешься во мне, и лучше всего, если ты прикончишь меня кинжалом; но подожди немного, прежде чем ты свершишь то, что называешь своей местью, я должен освободить тебя. Пойдем со мной к Биасу.

В его поведении и словах скрывалась неведомая для меня тайна. Несмотря на все мое предубеждение против этого человека, голос его всегда заставлял звучать какую-то струну в моем сердце. Слушая его, я невольно поддавался непонятной властной силе. Я сам ловил себя на том, что колеблюсь между желанием отомстить и жалостью, между подозрением и слепой доверчивостью.

Я последовал за ним.

## XLII

Мы ушли со стоянки негров Красной Горы. Мне было странно, что я свободно иду по этому лагерю диких, где накануне каждый разбойник, казалось, жаждал моей крови. Негры и мулаты, встречавшиеся нам по дороге, не только не пытались нас задержать, но с криками радости, удивления и почтения падали ниц перед нами. Я не знал звания Пьеро в войске мятежников, но помнил, каким влиянием он пользовался среди своих товарищей-рабов, и потому нисколько не удивлялся тому высокому положению, которое он, по-видимому, занимал среди своих друзей-бунтовщиков.

Когда мы подошли к сторожевому отряду, охранявшему вход в пещеру Биасу, начальник охраны, мулат Канди, вышел нам навстречу, издали грозно спрашивая нас, как мы смеем так близко подходить к жилищу генерала; но когда он подошел поближе и смог разглядеть лицо Пьеро, он, как будто ужаснувшись собственной дерзости, быстро сорвал свою вышитую золотом шапку и поклонился ему до земли, после чего повел нас к Биасу, бормоча бесконечные извинения, в ответ на которые Пьеро только презрительно махнул рукой.

Преклонение простых солдат перед Пьеро не удивляло меня, но когда я увидел, что Канди, один из их главных офицеров, так унижается перед невольником моего дяди, я задал себе вопрос, кто же этот человек, власть которого, казалось, была так велика. Я удивился еще больше, когда увидел, что сам главнокомандующий, который сидел один и спокойно ел тыквенный суп, при появлении Пьеро поспешно вскочил с места и, стараясь скрыть тревожное удивление и сильнейшую досаду, с подчеркнутым уважением, смиренно склонился перед моим спутником, предлагая ему занять место на своем троне. Пьеро отказался.

— Жан Биасу, — сказал он, — я пришел не затем, чтобы занять ваше место, а только попросить у вас милости.

— Alteza, — ответил Биасу, отвешивая ему новые поклоны, — вы можете распоряжаться всем, что зависит от Жана Биасу, всем, что принадлежит Жану Биасу, а также самим Жаном Биасу.

Этот титул alteza, соответствующий нашему «высочеству» или «светлости», с которым Биасу обратился к Пьеро, еще усилил мое изумление.

— Мне не нужно так много, — с живостью возразил Пьеро, — я прошу вас только дать жизнь и свободу этому пленнику.

Он указал на меня рукой. В первую минуту Биасу как будто растерялся, но быстро пришел в себя.

— Вы повергаете в отчаяние вашего покорного слугу, alteza; вы требуете от него гораздо больше того, что он может исполнить, к его великому сожалению. Этот пленник — не Жана Биасу, он не принадлежит Жану Биасу и не зависит от Жана Биасу.

— Что вы хотите сказать? — спросил Пьеро сурово. — От кого же он зависит? Разве здесь есть иная власть, кроме вашей?

— Увы, есть, alteza!

— Чья же она?

— Моей армии.

Льстивый и хитрый вид, с каким Биасу увиливал от ответа на решительные и прямые вопросы Пьеро, свидетельствовал о том, что он решил ограничиться лишь изъявлениями уважения, которые, видимо, был обязан оказывать Пьеро.

— Как вашей армии? — вскричал Пьеро. — Разве вы не командуете ею?

Биасу чувствовал себя хозяином положения и, сохраняя свой покорный вид, ответил с притворной искренностью:

— Неужели alteza полагает, что можно действительно приказывать людям, восставшим именно потому, что они не хотят повиноваться?

Я слишком мало дорожил жизнью, чтобы вмешаться в их разговор; однако все, что я видел накануне, свидетельствовало о неограниченной власти Биасу над бунтовщиками и давало мне возможность вывести на чистую воду этого лицемера. Пьеро возразил ему:

— Ну что ж! Если вы не умеете приказывать вашей армии и если вы подчиняетесь вашим солдатам, тогда скажите мне, по какой причине они так ненавидят этого пленника?

— Вчера Букман был убит правительственными войсками, — ответил Биасу, стараясь придать грустное выражение своему свирепому и насмешливому лицу. — И мои солдаты решили отомстить этому белому за смерть вождя ямайских негров; они хотят взять трофей за трофей, чтобы голова этого молодого офицера уравновесила голову Букмана на тех весах, которые покажут перед господом богом, которая из сторон была права.

— Как можете вы участвовать в этой гнусной расправе? — воскликнул Пьеро. — Послушайте, Жан Биасу, именно такие жестокости погубят наше правое дело. Я был в плену в лагере белых, откуда мне удалось бежать, и не знал о смерти Букмана, вы первый сообщили мне о ней. Это справедливое возмездие, посланное ему небом за его преступления. Я могу сообщить вам еще одну новость. Жано, тот самый предводитель черных, который пошел в проводники к белым, чтобы заманить их в засаду в ущелье «Усмиритель мулатов», тоже только что погиб. Вы знаете, — не перебивайте меня, Биасу, — вы знаете, что в жестокости он мог поспорить с Букманом и с вами; так вот запомните: его убил не гром небесный и не белые, а Жан-Франсуа. Он сам совершил над ним правосудие.

Биасу, слушавший его с мрачной почтительностью, издал удивленное восклицание. В эту минуту вошел Риго, низко поклонился Пьеро и прошептал несколько слов на ухо Биасу. Снаружи, в лагере, слышалось большое волнение. Пьеро продолжал:

— ...Да, Жан-Франсуа, у которого нет других недостатков, кроме пагубной любви к роскоши и смешного чванства коляской, запряженной шестеркой лошадей, в которой он каждый день ездит из своего лагеря слушать мессу в церковь прихода Большой реки, — сам Жан-Франсуа наказал Жано за необузданную жестокость. Несмотря на униженные мольбы разбойника, несмотря на то, что в последнюю минуту он так крепко вцепился в исповедовавшего его священника из Мармэлада, что его насилу оторвали, этот зверь был вчера расстрелян у подножия того дерева с железными крючьями, на котором он подвешивал живьем свои жертвы. Пусть это послужит вам уроком, Биасу! К чему эти казни, которые толкают белых на жестокости? И зачем прибегать к фиглярству, чтобы разжигать ярость в наших несчастных товарищах, и так уже слишком ожесточенных? В Тру-Коффи есть шарлатан-мулат по прозвищу «Римская пророчица», который возбуждает фанатизм среди черных; он оскверняет богослужение; он уверяет, будто может разговаривать с богородицей и слушать ее предсказания, прижав ухо к дарохранительнице; он толкает своих товарищей на убийства и грабежи во имя девы Марии!

Быть может, в тоне, каким Пьеро произнес это имя, я уловил чувство более нежное, чем благоговение верующего, — не знаю, но это оскорбило и возмутило меня.

— ...Так вот, — продолжал Пьеро, — в вашем лагере есть тоже какой-то оби, какой-то фигляр, вроде этой «Римской пророчицы»! Я понимаю, что когда приходится командовать армией, состоящей из людей многих стран, многих племен и цветов, необходимо создать общую связь между ними; но неужели вы не можете найти эту связь ни в чем, кроме дикого фанатизма и нелепых суеверий? Поверьте, Биасу, белые не так жестоки, как мы. Я видел плантаторов, отстаивавших жизнь своих рабов; правда, я знаю, что для многих это значило спасти свои деньги, а не жизнь человека; но все же эта забота о собственных интересах стала их заслугой. Не будем менее милосердны, чем они, ведь это тоже в наших интересах. Разве наше дело станет более святым и справедливым, если мы будем истреблять женщин, душить детей, пытать стариков, сжигать колонистов живьем в их домах? А ведь мы это делаем каждый день! Отвечайте, Биасу, нужно ли нам всегда оставлять за собой лишь пепел и кровь?

Он замолчал. Его сверкавшие глаза и выразительный голос сообщали его словам непередаваемую силу и убедительность. Биасу, точно лисица, настигнутая львом, бросал вокруг косые взгляды, стараясь найти какую-нибудь лазейку, чтобы ускользнуть от этого могучего противника. В то время как он раздумывал, начальник отряда из Кэй, тот самый Риго, который накануне с таким спокойствием взирал на злодеяния, творимые перед его глазами, теперь притворился возмущенным картиной насилий, нарисованной Пьеро, и воскликнул с лицемерным ужасом:

— Великий боже! Как страшен разъяренный народ!

## XLIII

Между тем шум снаружи все усиливался и, казалось, тревожил Биасу. Позже я узнал, что это волнение было вызвано неграми Красной Горы, которые бегали по лагерю, рассказывая о возвращении моего освободителя, и были готовы поддерживать его во всем, с чем бы он ни пришел к Биасу. Риго сообщил об этом главнокомандующему, и тот, боясь, как бы это не привело к гибельному расколу в его войске, решил пойти на некоторые уступки Пьеро.

— Alteza, — сказал он с досадой, — если мы слишком суровы с белыми, то вы слишком суровы с нами. Вы неправы, обвиняя меня в свирепости; я попал в этот поток: не я, а он увлекает меня за собой. Но скажите, que podria hacer ahora[[108]](#footnote-108) чтобы доставить вам удовольствие?

— Я вам уже сказал, сеньор Биасу, — ответил Пьеро: — отпустите со мной этого пленника.

Биасу на минуту задумался, а потом воскликнул, стараясь придать своему лицу выражение самой глубокой искренности:

— Так и быть, alteza, я хочу показать, как велико мое желание вам услужить. Позвольте мне сказать пленнику два слова с глазу на глаз; после этого он может идти за вами.

— И только-то? Пожалуйста! — ответил Пьеро.

Его лицо, до этого надменное и недовольное, просияло от радости. Он отошел на несколько шагов.

Биасу отвел меня в угол пещеры и тихо сказал:

— Я могу даровать тебе жизнь, только с одним условием: ты знаешь его. Ну как, ты одумался?

Он показал мне письмо Жана-Франсуа. Я считал низостью согласиться.

— Нет! — ответил я.

— Ты все еще упрямишься? — сказал он со своей обычной усмешкой. — Видно, ты сильно надеешься на своего покровителя! А знаешь, кто он?

— Да, — ответил я с живостью, — он такой же изверг, как и ты, только еще лицемерней!

Биасу подскочил от удивления и, глядя мне в глаза, чтобы понять, не шучу ли я, спросил:

— Так ты вправду не знаешь его?

Я ответил ему с презрением:

— Я знаю только, что это невольник моего дяди по имени Пьеро.

Биасу опять начал ухмыляться.

— Ха! Ха! Вот так потеха! Он требует для тебя жизни и свободы, а ты говоришь, что он «такой же изверг», как и я!

— Что мне за дело? — ответил я. — Если б я получил хоть одну минуту свободы, я добивался бы его смерти, а не моей жизни!

— Что это значит? — спросил Биасу. — Ты как будто говоришь то, что думаешь, и вряд ли хочешь шутить своей жизнью. Тут кроется что-то непонятное для меня. Тебе покровительствует человек, которого ты ненавидишь; он хочет спасти тебя, а ты хочешь его убить! Впрочем, мне все равно. Ты желаешь получить хоть минуту свободы, — это единственное, что я могу подарить тебе. Я отпущу тебя с ним; но прежде дай честное слово, что за два часа до захода солнца ты вернешься назад и отдашься в мои руки. Ведь ты француз?

Что мне сказать вам, господа? Жизнь была мне в тягость; к тому же меня возмущала мысль принять ее от Пьеро, которого у меня было столько поводов ненавидеть; быть может, на мое решение повлияла также уверенность, что Биасу, никогда не выпускавший из лап свою добычу, ни за что не согласится отпустить меня; я действительно хотел получить свободу всего на несколько часов, чтобы узнать перед смертью о судьбе моей любимой Мари, а значит, и о своей. Дать слово, которого потребовал от меня Биасу, доверявший чести француза, было самым верным и легким средством получить еще один день жизни; я дал его.

Связав меня этим обещанием, Биасу подошел к Пьеро.

— Alteza, — сказал он угодливо, — белый пленник в вашем распоряжении; вы можете увести его; он волен следовать за вами.

Я никогда не видел, чтобы глаза Пьеро сияли таким счастьем.

— Спасибо, Биасу! — вскричал он, протягивая ему руку. — Спасибо! Ты оказал мне такую услугу, что можешь теперь требовать от меня все, что захочешь! Продолжай командовать моими братьями с Красной Горы до моего возвращения.

Он повернулся ко мне.

— Раз ты свободен, идем!

И он увлек меня с необыкновенной настойчивостью.

Биасу смотрел нам вслед с удивлением, сквозившим даже в почтительных поклонах, которыми он провожал Пьеро.

## XLIV

Мне не терпелось остаться с Пьеро наедине. Его смущение, когда я спросил о судьбе Мари, оскорбительная нежность, с какой он осмелился произнести ее имя, еще укрепили ненависть и ревность, вспыхнувшие в моем сердце, когда я сквозь пламя пожара в форте Галифэ увидел, что он уносит ту, которую я едва успел назвать своей женой. Что значили для меня после этого великодушные упреки, которые он бросал при мне злодею Биасу, его попытки спасти мою жизнь и даже необыкновенная странность всех его поступков и слов? Что значила для меня тайна, казалось, всегда окружавшая его? Тайна его неожиданного появления передо мной живым и невредимым, когда я был уверен, что присутствовал при его смерти; тайна его плена в лагере белых, после того как я видел, что он утонул в Большой реке; тайна превращения раба в повелителя, пленника — в освободителя? Из всех этих (непонятных происшествий для меня было ясно только одно: гнусное похищение Мари — обида, требовавшая мести, преступление, требовавшее наказания. Все, что случилось необъяснимого за это время, могло лишь заставить меня отсрочить мой приговор, и я с нетерпением ждал минуты, когда призову к ответу моего соперника. Эта минута настала наконец.

Мы прошли сквозь тройную цепь негров, распростершихся при виде нас и кричавших с удивлением: «Miraculo! ya no esta prisoniero!»[[109]](#footnote-109) Не знаю, о ком они думали: о Пьеро или обо мне. Наконец мы вышли за границы лагеря; последние сторожевые посты Биасу скрылись за деревьями и скалами; Раск весело обгонял нас и снова прибегал назад; Пьеро быстро шел вперед. Я резко остановил его.

— Послушай, — сказал я ему, — незачем идти дальше. Уши, которых ты боялся, теперь не могут нас услышать; говори, что ты сделал с Мари?

Голос мой прерывался от сильного волнения. Он кротко посмотрел на меня.

— Опять! — сказал он.

— Да, опять! — вскричал я в бешенстве. — Опять! Я буду спрашивать тебя снова и снова, до твоего последнего вздоха и до моего последнего дыхания. Где Мари?

— Значит, ничто не может рассеять твоих сомнений во мне? Ты скоро все узнаешь.

— Скоро, негодяй? — возразил я. — Я хочу знать сейчас же! Где Мари? Где Мари? Слышишь? Отвечай, или жизнь за жизнь! Защищайся!

— Ведь я уже говорил тебе, что не могу, — отвечал он с грустью. — Поток не борется со своим источником; ты трижды спас мою жизнь, и она не может бороться с твоей жизнью. Да если б я и захотел, это невозможно. У нас только один кинжал на двоих.

С этими словами он вытащил кинжал из-за пояса и протянул его мне.

— Возьми, — сказал он.

Я был вне себя. Я схватил кинжал и приставил блестящее острие к его груди. Он не подумал уклониться.

— Несчастный, — вскричал я, — не принуждай меня к убийству! Если ты сейчас же не скажешь мне, где моя жена, я воткну тебе в сердце этот клинок!

Он ответил мне без гнева:

— Ты мой господин. Но я молю тебя, дай мне еще час жизни и следуй за мной. Ты сомневаешься в том, кому три раза спас жизнь, в том, кого называл своим братом; но слушай, если через час ты все еще будешь сомневаться во мне, ты волен убить меня. Это ты всегда успеешь. Ты же видишь, что я не буду сопротивляться. Заклинаю тебя именем самой Марии... — и он прибавил с усилием: — твоей жены. Еще один час; и если я так умоляю тебя, то, поверь, это не ради меня, а ради тебя!

Его голос, полный невыразимой грусти, звучал необыкновенно убедительна. Какое-то смутное чувство говорило мне, что, быть может, все это правда, что одного желания спасти свою жизнь было бы недостаточно, чтобы придать его словам такую проникновенную нежность, такую кроткую покорность, и что он умоляет не ради самого себя. Я еще раз подчинился той тайной власти, которую он имел надо мной и в которой я тогда стыдился себе признаться.

— Хорошо, — сказал я, — даю тебе отсрочку еще на час; я пойду за тобой.

Я хотел отдать ему кинжал.

— Нет, — сказал он, — оставь его у себя, ты мне не доверяешь. Но идем, у нас мало времени.

## XLV

Он снова пошел вперед. Раск, который во время нашего разговора несколько раз убегал и опять возвращался к нам, как бы спрашивая взглядом, зачем мы остановились, теперь весело бежал перед нами. Мы углубились в девственный лес. Приблизительно через полчаса мы вышли на красивую зеленую поляну, окруженную высокими вековыми деревьями с густой и свежей листвой; по ней протекал родник, бивший из скалы. На поляну выходила пещера, темное отверстие которой все заросло вьющимися растениями: бородавником, лианами и жасмином. Раск хотел было залаять, но Пьеро знаком остановил его и, взяв меня за руку, ввел в пещеру.

В этом гроте, на циновке, спиною к свету, сидела женщина. Услышав звук шагов, она обернулась... Друзья мои, то была Мари!

На ней было белое платье, как в день нашей свадьбы, и венок из флер-д’оранжа, последний девичий убор молодой новобрачной, который я не успел снять с ее головы. Она увидела меня, узнала, вскрикнула и упала в мои объятия, теряя сознание от радости и волнения. Я был вне себя.

На ее крик из углубления в конце пещеры, где была устроена вторая комната, выбежала старуха с ребенком на руках. То была старая няня Мари и младший ребенок моего несчастного дяди. Пьеро сбегал за водой к роднику и брызнул несколько капель в лицо Мари. Их свежесть вернула ее к жизни; она открыла глаза.

— Леопольд! — воскликнула она. — Мой Леопольд!

— Мари!.. — ответил я, и слова мои замерли в поцелуе.

— Только не при мне! — вскрикнул кто-то раздирающим душу голосом.

Мы подняли глаза; это был Пьеро. Он стоял тут же, присутствуя при наших ласках, как на пытке. Его грудь высоко вздымалась, ледяной пот крупными каплями скатывался со лба, он весь дрожал. Вдруг он закрыл лицо руками и выбежал из пещеры, повторяя с отчаянием: «Не при мне!»

Мари слегка отстранилась от меня и воскликнула, глядя ему вслед:

— Великий боже! Леопольд, он, кажется, страдает, глядя на нашу любовь. Неужели он любит меня?

Крик невольника доказал мне, что он мой соперник; восклицание Мари доказывало, что он мой друг.

— Мари! — сказал я, и сердце мое наполнилось одновременно невыразимым блаженством и горьким раскаянием. — Мари, разве ты этого не знала?

— Да я и сейчас не знаю, — отвечала она, стыдливо покраснев. — Как! Он любит меня? Я никогда этого не замечала!

Я страстно прижал ее к своему сердцу.

— Я снова нашел и жену и друга! — воскликнул я. — Как я счастлив и как виноват! Я сомневался в нем!

— Как! В нем? — спросила Мари с удивлением. — В Пьеро? О да, ты очень виноват. Он два раза спас мне жизнь и, может быть, больше, чем жизнь, — прибавила она, опуская глаза. — Если б не он, меня разорвал бы крокодил; если б не он, негры... Пьеро вырвал меня у них из рук в ту минуту, когда они, видимо, собирались отправить меня вслед за моим несчастным отцом.

Мари замолчала и заплакала.

— Но почему же Пьеро не отослал тебя в Кап, к твоему мужу? — спросил я ее.

— Он пытался, но не мог. Это было очень трудно; ему приходилось скрываться и от черных и от белых. Кроме того, мы не знали, что с тобой. Некоторые говорили, будто видели, как тебя убили, но Пьеро убеждал меня, что это неправда; и я была уверена, что ты жив: если б ты умер, сердце подало бы мне весть и я умерла бы в ту же минуту.

— Значит, Пьеро привел тебя сюда? — спросил я.

— Да, мой Леопольд; никто, кроме него, не знает про эту уединенную пещеру. Вместе со мной он спас и всех, кто уцелел из моей семьи, — мою няню и младшего брата, и спрятал нас здесь. Уверяю тебя, нам тут очень удобно; и если б не война, которая проникает в каждый уголок нашей страны, теперь, когда мы разорены, я с радостью осталась бы здесь жить с тобой. Пьеро приносил сюда все, что нам было нужно. Он часто приходил к нам, с красным пером в волосах. Он утешал меня, говорил о тебе, уверял, что скоро мы будем снова вместе. Последние три дня он не был у нас, и я начала уже беспокоиться, но тут он вернулся с тобою вместе. Бедный друг! Он, значит, ходил за тобой?

— Да, — ответил я.

— Но может ли быть после этого, что он влюблен в меня? — продолжала она. — Ты в этом уверен?

— Теперь уверен, — ответил я. — Это он занес надо мной кинжал и опустил руку не ударив, из боязни причинить тебе горе; это он пел тебе песни любви у беседки над рекой.

— Неужели! — воскликнула Мари с наивным удивлением. — Он твой соперник? Тот гадкий человек с букетом ноготков — это добрый Пьеро? Мне прямо не верится! Он так предан мне, так почтителен, еще больше, чем когда он был нашим рабом! Правда, иногда он смотрел на меня каким-то странным взглядом, но я видела в нем только грусть и думала, что он жалеет меня в моем горе. Если бы ты знал, с какой горячей преданностью он говорил со мной о моем Леопольде! Его дружба превозносила тебя почти так же, как моя любовь.

Рассказ Мари восхищал меня и в то же время приводил в отчаяние. Я вспоминал, как жестоко я обошелся с великодушным Пьеро, и чувствовал всю справедливость его кроткого, покорного упрека: «Не я неблагодарный».

В это время Пьеро вернулся. Лицо его было мрачно и скорбно. Он был похож на осужденного, только что мужественно перенесшего пытку. Он медленно подошел ко мне и сказал серьезным тоном, указывая на кинжал, который я засунул себе за пояс:

— Час прошел.

— Какой час? — спросил я.

— Час отсрочки, что ты мне дал; он был мне нужен, чтоб привести тебя сюда. Тогда я умолял тебя оставить мне жизнь, теперь я заклинаю тебя избавить меня от нее.

Самые нежные чувства: любовь, дружба, благодарность, соединились теперь, чтобы разорвать мое сердце. Горько рыдая, я упал к ногам раба, не в силах произнести ни слова. Он поспешно поднял меня.

— Что ты делаешь? — воскликнул он.

— Я только воздаю тебе должное; я не достоин такой дружбы, как твоя. Признательность твоя не может быть так велика, чтобы ты простил мне мою неблагодарность.

Его лицо еще несколько минут сохраняло суровое выражение; по-видимому, в душе его шла мучительная внутренняя борьба; он сделал шаг ко мне и остановился, разомкнул губы, но не произнес ни слова. Однако колебания его длились недолго; он раскрыл мне свои объятия и сказал:

— Могу я теперь называть тебя братом?

В ответ я бросился ему на шею.

Помолчав немного, он сказал:

— Ты добр, но несчастье сделало тебя несправедливым.

— Я вновь нашел своего брата, — ответил я, — я счастлив теперь, но очень виноват.

— Ты виноват, брат? Я тоже был виноват, и гораздо больше тебя. Ты счастлив теперь; я же буду несчастным всегда!

## XLVI

Радость вновь обретенной дружбы, в первые минуты осветившая его лицо, быстро угасла; на нем появилось выражение какой-то печали и твердости.

— Послушай, — сказал он мне сурово, — мой отец был королем в стране Каконго. Он творил суд над своими подданными у порога своего дома и после каждого вынесенного им приговора, по обычаю королей, пил полную чашу пальмового вина. Мы были счастливы и могущественны. Но вот пришли европейцы; от них я перенял те пустые знания, что так удивили тебя. Начальником у них был испанский капитан; он пообещал отцу более обширные владения, чем наши, и белых женщин; отец последовал за ним со всей своей семьей... Брат, они продали нас!

Грудь его вздымалась, глаза сверкали; он бессознательно схватился за стоявшее возле него молодое кизиловое дерево и переломил его, а потом продолжал, как будто даже не обращаясь ко мне:

— У повелителя страны Каконго появился свой повелитель, а его сын стал рабом на полях Сан-Доминго. Молодого льва разлучили с его старым отцом, чтоб их легче было укротить. Молодую жену оторвали от мужа, чтоб извлечь побольше выгоды, соединив их с другими. Маленькие дети искали мать, выкормившую их, и отца, купавшего их в горных потоках; но они нашли только жестоких тиранов, державших их вместе с собаками!

Он замолчал; губы его беззвучно шевелились, дикий взгляд его был неподвижен. Вдруг он крепко схватил меня за руку.

— Брат, знаешь? Меня продавали разным хозяевам, точно скотину... Ты помнишь казнь Оже? Слушай: в этот день я снова увидел отца... на колесе!

Я содрогнулся. Он продолжал:

— Белые надругались над моей женой. Слушай, брат: она умерла и перед смертью просила меня отомстить. Сознаться ли тебе? — продолжал он, колеблясь и опуская глаза. — Я виноват перед ней, я полюбил другую. Но оставим это...

Все мои товарищи торопили меня, чтобы я освободил их и отомстил. Раск приносил мне вести от них.

Я не мог исполнить их желания, я сам сидел в то время в тюрьме твоего дяди. В тот день, когда ты добился моего помилования, я сбежал, чтобы вырвать моих детей из рук жестокого хозяина. Я пришел. Слушай, брат: последний внук короля Каконго только что скончался под ударами белого! Остальные погибли до него.

Он остановился и холодно спросил меня:

— Брат, что бы ты сделал на моем месте?

Этот раздирающий сердце рассказ глубоко потряс меня. Я ответил на его вопрос угрожающим жестом. Он понял меня и горько улыбнулся. Затем продолжал:

— Рабы восстали против своих господ и наказали их за убийство моих детей. Они выбрали меня своим вождем. Ты знаешь, сколько бедствий повлек за собой этот мятеж. Я узнал, что негры твоего дяди готовятся последовать этому примеру. Я прибежал в Акюль в ночь, когда началось восстание. Тебя не было. Твой дядя был только что заколот в своей постели. Черные уже поджигали плантации. Я не мог сдержать разъяренных невольников, считавших, что они отомстят за меня, спалив имение твоего дяди, и постарался спасти всех, кто еще уцелел из твоей семьи. Я пробрался в форт через проделанный мною раньше проход. Няню твоей жены я поручил одному верному товарищу. Спасти Марию было гораздо трудней. Она бросилась в горевшую часть форта, чтобы вытащить оттуда своего младшего брата, единственного, кто уцелел во время резни. Черные окружили ее; они хотели ее убить. Я подошел к ним и приказал отпустить ее, чтобы самому отомстить за себя. Они разошлись. Я взял на руки твою жену, передал ребенка Раску и перенес их в эту пещеру, о которой никто не знает, кроме меня. Брат, вот и все мое преступление!

Благодарность и угрызения совести охватили меня с новой силой, и я хотел опять броситься к его ногам; он остановил меня с оскорбленным видом.

— Полно, идем, — сказал он и взял меня за руку, — бери свою жену, и двинемся в путь все вместе.

Я с удивлением спросил его, куда он хочет нас вести.

— В лагерь белых, — ответил он. — Это убежище теперь ненадежно. Завтра на рассвете белые пойдут в атаку на лагерь Биасу; лес будет наверно подожжен. К тому же нам нельзя терять ни минуты; десять человек отвечают за меня своими головами. Теперь мы можем поторопиться, ведь ты свободен; мы обязаны это сделать, ведь я не свободен.

Его слова еще увеличили мое удивление; я попросил его объяснить, что он хочет сказать.

— Разве ты не слышал, что Бюг-Жаргаль взят в плен? — спросил он нетерпеливо.

— Слышал. Но что у тебя общего с этим Бюг-Жаргалем?

Теперь он удивился в свою очередь и сказал мне с достоинством:

— Бюг-Жаргаль — это я!

## XLVII

С этим человеком я, можно сказать, привык ко всяким неожиданностям. Минуту тому назад я с удивлением увидел в невольнике Пьеро африканского короля. Теперь я с восхищением узнал в нем грозного и великодушного Бюг-Жаргаля, вождя мятежников Красной Горы. Я понял, наконец, причину того глубокого уважения, которое все мятежники, и даже Биасу, оказывали вождю Бюг-Жаргалю, королю Каконго.

Он, по-видимому, не заметил, какое сильное впечатление произвели на меня его последние слова.

— Мне сказали, — продолжал он, — что ты тоже в плену, в лагере Биасу, и я пришел туда, чтобы освободить тебя.

— Отчего же ты сказал мне сейчас, что ты не свободен?

Он посмотрел на меня, как будто стараясь отгадать, почему я задал ему этот вполне естественный вопрос.

— Послушай, — сказал он, — сегодня утром я был в плену у твоих. В лагере я узнал, что Биасу объявил о своем намерении перед заходом солнца казнить молодого пленника по имени Леопольд д’Овернэ. Мою охрану усилили. Мне сказали, что я буду казнен немедленно после тебя, а если я убегу, за меня ответят десять моих товарищей. Видишь, я должен спешить.

Я опять остановил его.

— Значит, ты убежал? — спросил я.

— А как же я попал бы сюда? Разве я не должен был спасти тебя? Ведь я обязан тебе жизнью. А теперь следуй за мной. Мы в часе ходьбы и от лагеря белых и от лагеря Биасу. Видишь, тени кокосовых пальм становятся все длинней, и их круглые вершины на траве похожи на громадные яйца кондора. Через три часа солнце сядет. Идем, брат, время не ждет.

«Через три часа солнце сядет». От этих простых слов кровь застыла в моих жилах, как будто я увидел призрак смерти. Они напомнили мне роковое обещание, данное мной Биасу. Увы! При виде Мари я совсем забыл о нашей скорой и вечной разлуке; я весь отдался упоению этой встречи; пережитые волнения отняли у меня память, и, в своем счастье, я забыл о близкой смерти. Слова моего друга внезапно сбросили меня в бездну моего несчастья. «Через три часа солнце сядет»! Чтобы добраться до лагеря Биасу, нужен был час. Мой долг неумолимо стал передо мной; я дал разбойнику слово, и лучше умереть, чем признать за этим варваром право презирать единственное, во что он, кажется, еще верил, — честь француза. Этот выбор был ужасен; я избрал то, что повелел мне долг; но, сознаюсь вам, господа, в первую минуту я заколебался. Можно ли осуждать меня за это?

## XLVIII

Наконец, тяжело вздохнув, я взял одной рукой руку Бюг-Жаргаля, а другой — руку моей бедной Мари, с тревогой смотревшей на мое помрачневшее лицо.

— Бюг-Жаргаль, — сказал я с усилием, — поручаю тебе единственное существо на свете, которое я люблю больше тебя, — Мари. Возвращайтесь в лагерь без меня, я не могу идти с вами.

— Боже мой, — вскричала Мари, едва дыша, — опять какое-то несчастье!

Бюг-Жаргаль вздрогнул. В его глазах отразилось горестное недоумение.

— Брат, что ты говоришь?

Ужас, охвативший Мари при мысли о новом несчастье, которое, казалось, угадала ее чуткая любовь, обязывал меня скрыть от нее истину и избавить ее от душераздирающего прощания. Я наклонился к Бюг-Жаргалю и тихо сказал ему:

— Я пленник. Я поклялся Биасу вернуться и отдаться в его руки за два часа до захода солнца; я обещал умереть.

Он подскочил от ярости и закричал громовым голосом:

— Негодяй! Так вот зачем он хотел поговорить с тобой с глазу на глаз, он вырвал у тебя это обещание! Как мог я поверить этой гадине Биасу! Я должен был предвидеть какое-нибудь вероломство. Ведь он не черный, а мулат!

— Что это значит? Какое обещание? Какое вероломство? — воскликнула в ужасе Мари. — Кто такой Биасу?

— Молчи, молчи, — твердил я шепотом Бюг-Жаргалю, — не надо пугать Мари.

— Хорошо, — сказал он мрачным тоном. — Но как ты мог согласиться? Зачем ты дал это обещание?

— Я думал, что ты предал меня, что Мари для меня потеряна. Зачем была мне жизнь?

— Но одно устное обещание не может связать тебя перед этим разбойником.

— Я дал ему честное слово.

Казалось, он старается понять смысл моих слов.

— Честное слово! Что это такое? Ведь вы не пили оба из одной чаши? Не ломали с ним кольца или ветки цветущего клена?

— Нет.

— Тогда о чем же ты толкуешь? Что тебя связывает?

— Моя честь, — ответил я.

— Я не понимаю, что это значит. Ничто не связывает тебя с Биасу. Пойдем с нами.

— Я не могу, брат, я обещал.

— Нет! Ты не обещал! — вскричал он запальчиво. Затем, еще повысив голос, продолжал: — Сестра, помогите мне; не позволяйте мужу покинуть нас. Он хочет вернуться в лагерь к черным, откуда я вырвал его, вернуться только потому, что он обещал их вождю Биасу умереть.

— Что ты наделал? — вскричал я.

Но было уже поздно. Я не мог предотвратить действие этого великодушного порыва, побудившего его молить ту, которую он любил, о спасении жизни своего соперника. Мари бросилась мне на грудь с криком отчаяния. Обвив руками мою шею, она прижалась ко мне без сил и почти без дыхания.

— О мой Леопольд, что он говорит? — с трудом прошептала она. — Скажи, что это неправда, что ты не хочешь покинуть меня в ту минуту, когда мы вновь соединились, — покинуть, чтобы умереть! Отвечай скорей, или я умру! Ты не имеешь права отдавать свою жизнь, ты с нею отдаешь и мою. Ты не захочешь уйти от меня и расстаться со мною навеки!

— Мари, — ответил я, — не верь ему; я, правда, должен тебя покинуть; так надо; но мы снова встретимся в другом месте...

— В другом месте, — повторила она с ужасом, — в другом месте... где же?

— На небе! — ответил я, не в силах лгать этому ангелу.

Она снова упала без чувств, на этот раз уже от горя. Я не мог больше медлить; решение мое было твердо. Я передал ее Бюг-Жаргалю, который смотрел на меня полными слез глазами.

— Значит, ничто не может удержать тебя? — спросил он. — Я ничего не прибавлю к тому, что ты видишь. Как можешь ты противиться Марии? За каждое слово, сказанное ею, я пожертвовал бы целым миром, а ты не можешь пожертвовать своей смертью!

— Честью, — возразил я. — Прощай, Бюг-Жаргаль, прощай, брат! Я завещаю ее тебе.

Он взял меня за руку; он был задумчив и, казалось, плохо слушал меня.

— Брат, в лагере у белых находится один из твоих родственников; я передам ему Марию; что до меня, я не могу принять завещанное тобой.

Он указал мне на остроконечную скалу, которая возвышалась над всей окружающей местностью.

— Видишь этот утес? Как только сигнал о твоей смерти появится на его вершине, ружейный залп тотчас возвестит и о моей. Прощай.

Не задумываясь над непонятным значением его последних слов, я крепко обнял его, поцеловал бледный лоб Мари, которая начала понемногу приходить в себя благодаря заботам своей няни, и стремительно убежал от них, боясь, как бы первый взгляд и первая мольба Мари не отняли у меня всю мою решимость.

## XLIX

Я убежал и углубился в чащу леса, следуя по проложенной нами тропинке и не смея оглянуться назад. Чтобы заглушить осаждавшие меня мысли, я мчался, не останавливаясь, сквозь кустарник, через поляны и холмы, пока не вышел, наконец, на гребень горы и не увидел перед собой лагерь Биасу с неправильными рядами тележек и шалашей, кишевший внизу, как муравейник. Тут я остановился. Я достиг конца моего пути и моей жизни. Усталость и волнение сломили мои силы; я прислонился к дереву, чтобы не упасть, в то время как глаза мои рассеянно блуждали по развернувшейся у моих ног роковой саванне.

До этой минуты мне казалось, что я уже испил всю чашу горечи и желчи. Но я еще не испытал самой жестокой муки — подчиниться нравственной силе, более могущественной, чем сила внешних событий; быть счастливым — и добровольно отказаться от счастья, быть живым — и самому отказаться от жизни. Что значила для меня жизнь несколько часов тому назад? Тогда я не жил: глубокое отчаяние — это подобие смерти; оно заставляет желать смерти настоящей. Но я спасся от этого отчаяния; я вновь обрел Мари; мое умершее счастье словно воскресло; прошлое снова стало будущим, и все мои угасшие мечты вновь засияли еще ярче прежнего; наконец сама жизнь, молодая жизнь, полная любви и очарования, развернулась передо мной, сверкая, до самого горизонта. Я мог снова начать эту жизнь; все призывало меня к ней, и во мне и вокруг меня. Никакого реального препятствия, никакой видимой преграды! Я был свободен, я был счастлив, и все же мне надо было умереть. Я сделал только шаг в этом раю и уже должен был отступить; какой-то долг, даже не слишком настоятельный, заставлял меня идти назад, навстречу казни. Смерть — ничто для души увядшей и охладевшей в страданиях; но как страшен удар ее ледяной руки тому, чье расцветшее сердце согрето всеми радостями бытия! Я испытывал это теперь; я на мгновение вышел из гроба и в этот краткий миг вкусил самые небесные из всех земных радостей: любовь, преданность, свободу; и вот мне надо было снова сойти в могилу!

## L

Когда я справился с этой слабостью, вызванной мучительными сожалениями, мною овладело какое-то исступление; быстрыми шагами направился я в долину; я хотел одного — скорее покончить со всем. Подойдя к сторожевым постам негров, я назвал себя. Часовые с удивлением оглядели меня и отказались впустить обратно в лагерь. Горькая насмешка судьбы — мне пришлось чуть ли не просить их об этом. Наконец двое из них взялись отвести меня к Биасу.

Я вошел в пещеру главнокомандующего. Он перебирал орудия пытки, лежавшие перед ним, проверяя их исправность. Шум, произведенный нами при входе, заставил его оглянуться; он ничуть не удивился при моем появлении.

— Видишь? — сказал он, указывая на отвратительные предметы, окружавшие его.

Но я остался спокоен; я хорошо знал жестокость этого «героя человечества» и твердо решил перенести все не дрогнув.

— Пожалуй, Леогри очень повезло, что его только повесили! А? Как ты думаешь? — спросил он усмехаясь.

Я ответил ему взглядом, полным холодного презренья.

— Предупредите господина капеллана, — сказал Биасу одному из своих адъютантов.

Некоторое время мы оба молчали, пристально глядя друг на друга. Я рассматривал его; он наблюдал за мной.

Вошел Риго; он казался взволнованным и шепотом сказал что-то Биасу.

— Позвать всех моих военачальников, — спокойно приказал тот.

Четверть часа спустя военачальники, в своих причудливых одеяниях, собрались перед пещерой. Биасу встал.

— Слушайте, amigos,[[110]](#footnote-110) — обратился он к ним. — Завтра на рассвете белые собираются напасть на нас. Позиция у нас невыгодная; надо ее оставить. Как только зайдет солнце, все мы снимемся отсюда и направимся к испанской границе. Макайя, вы с вашими беглыми пойдете в авангарде. Падрежан, вы должны заклепать дула орудий, отнятых у артиллерии Пралото; мы не можем тащить их с собой в горы. Молодцы из Круа-де-Букэ выступят вслед за отрядом Макайи. За ним тронется Тусен с черными из Леогана и Тру. Если гриоты и гриотки посмеют поднять хотя бы малейший шум, они будут иметь дело с палачом. Подполковник Клу раздаст английские ружья, выгруженные на мысе Каброн, и поведет так называемых свободных мулатов по тропинкам Висты. Пленных, если они остались, перебить. Патроны надрезать; стрелы отравить. Высыпьте три бочки мышьяка в родник, откуда берут воду для лагеря; белые примут его за сахар и будут пить без опасения. Войска из Лимбэ, Лондона и Акюля двинутся сразу за отрядами Клу и Тусена. Завалите обломками скал все дороги в саванну; обстреляйте все тропинки, подожгите леса. Риго, вы останетесь подле нас. Канди, вы соберете мою личную охрану. Черные Красной Горы образуют арьергард и покинут долину только на рассвете.

Тут он наклонился к Риго и тихо сказал ему:

— Это черные Бюг-Жаргаля; хорошо, если бы их тут уничтожили! Muerta la tropa, muerto el gefe![[111]](#footnote-111)

— Ступайте, братья! — закончил он, выпрямившись во весь рост. — Пароль вы узнаете от Канди.

Военачальники удалились.

— Генерал, — сказал Риго, — надо отправить депешу Жана-Франсуа. Дела наши плохи; она могла бы задержать белых.

Биасу поспешно вытащил ее из кармана.

— Хорошо, что вы мне напомнили; но в ней столько грамматических ошибок, как говорят белые, что они только посмеются над ней. Послушай, хочешь спасти свою жизнь? — и он протянул мне бумагу. — Я так добр, что еще раз предлагаю тебе это, несмотря на твое упорство. Помоги мне переделать письмо; я продиктую тебе свои мысли, а ты изложишь их «стилем белых».

Я отрицательно покачал головой. Биасу, видимо, был раздосадован.

— Значит, нет? — спросил он.

— Нет, — ответил я.

— Подумай хорошенько, — сказал он настойчиво, бросив выразительный взгляд на инструменты палача, которыми он развлекался.

— Я уже все обдумал и потому отказываюсь, — ответил я. — Ты, видно, боишься за себя и за своих; ты рассчитываешь задержать этим письмом наступление и месть белых. А мне не нужна моя жизнь, если она послужит к спасению твоей. Прикажи начать пытку.

— Так, так, muchacho,[[112]](#footnote-112) — проговорил Биасу, отталкивая ногой орудия для истязаний, — ты, кажется, стал уже привыкать к их виду. Очень жаль, но у меня нет времени испробовать их на тебе. Положение у нас опасное; я должен как можно скорее выйти из него. Значит, ты не желаешь быть моим секретарем? Пожалуй, ты прав, я все равно убил бы тебя потом. Тому, кто знает тайну Биасу, не быть в живых; кроме того, милейший, я обещал нашему капеллану, что ты будешь убит, — он обернулся к оби, только что вошедшему в пещеру. — Почтенный отец, готова ваша команда?

Тот молча кивнул головой.

— Вы взяли черных Красной Горы? Из всего войска они одни не должны еще готовиться к выступлению.

Оби снова кивнул головой.

Биасу указал мне на большой черный флаг, стоявший в углу пещеры; я еще раньше обратил на него внимание.

— Вот этим мы известим ваших, что твои капитанские эполеты можно передать твоему помощнику. Ты понимаешь, что в это время мы уже должны быть в пути. Да, кстати, ты ведь только что вернулся с прогулки, как тебе понравились окрестности?

— Там достаточно деревьев, чтобы повесить тебя и всю твою шайку, — хладнокровно ответил я.

Биасу принужденно засмеялся.

— Там есть одно местечко, которое ты, вероятно, еще не видел, но почтенный отец покажет его тебе. Прощай, юный капитан, привет Леогри!

Он отвесил мне поклон со смехом, звучавшим, как трещотки гремучей змеи, подал страже знак и повернулся ко мне спиной; негры вывели меня. Колдун с покрывалом на лице шагал за нами с четками в руках.

## LI

Я шел, не оказывая никакого сопротивления; по правде говоря, оно было бы бесполезно. Мы поднялись на вершину холма, возвышавшегося в западной части саванны, где остановились передохнуть; я стоял, провожая глазами заходящее солнце, восход которого мне уже не суждено было увидеть. Затем мы двинулись дальше. Мы спустились в небольшую долину, которая в иное время очаровала бы меня. Ее пересекал горный поток и поил ее плодородную землю; в конце долины этот поток впадал в одно из тех красивых синих озер, которые так часто встречаются среди холмов Сан-Доминго. Сколько раз в былые счастливые дни я приходил в сумерки помечтать на берегу такого озера и следил, как его синяя гладь постепенно начинает отливать серебром и как трепещет в ней отражение первых звезд, рассыпающих по воде золотые блестки! Сейчас тоже приближались сумерки, но я должен был идти мимо! Какой прекрасной казалась мне эта долина! Нас окружали могучие, величественные платаны, группы mauritias — разновидность пальм с такой густой кроной, что в ее тени не может жить ни одно растение; финиковые деревья; магнолии, усыпанные крупными цветами; гигантские катальпы с гладкими, блестящими, словно вырезанными листьями, которые выделялись среди золотых гроздьев альпийского ракитника. Бледно-желтые цветы канадской герани переплетались с голубыми колокольчиками дикой жимолости, которую негры называют «коали». Зеленые завесы лиан скрывали от глаз бурые склоны соседних скал. Вся эта девственная природа благоухала так же сильно, как, наверное, благоухали первые розы, аромат которых вдыхал в садах Эдема первый человек.

Между тем мы шли по тропинке вдоль потока. Я с удивлением увидел, что она упирается в отвесную скалу, у подножия которой было отверстие, напоминавшее арку; из него-то и вырывался поток. Оттуда доносился глухой шум и дул порывистый ветер. Негры свернули влево, на неровную извилистую тропу, по-видимому прорытую среди скал каким-то давно высохшим горным ручьем.

Вдруг перед нами открылась пещера; вход в нее был наполовину скрыт зарослями терновника, остролиста и дикой ежевики. Из нее доносился такой же шум, какой привлек мое внимание, когда мы проходили мимо арки. Негры втолкнули меня в пещеру. Не успел я сделать и шага, как оби приблизился ко мне и сказал каким-то странным голосом:

— Теперь я сделаю тебе еще одно предсказание: лишь один из нас двоих выйдет отсюда этой дорогой.

Я не удостоил его ответом. Мы двигались в темноте. Шум все усиливался; мы уже не слышали звука собственных шагов. Я решил, что это шумит какой-то водопад, и не ошибся.

Пройдя в темноте минут десять, мы вышли на полукруглую площадку, которая была создана в глубине горы самой природой. Горный поток, с оглушительным шумом низвергавшийся откуда-то сверху, заливал большую часть площадки. Свод, похожий на купол, нависший над этим подземным залом, был покрыт желтоватым плющом. Слабый свет проникал через широкую пересекавшую весь купол трещину, по краям которой росли зеленые кусты; лучи солнца золотили их в эту минуту. У северного края площадки поток с грохотом устремлялся в пропасть, в черной глубине которой слабо мерцало отражение тусклого света, падавшего из щели в куполе, и гасло, не осветив ее дна. Над пропастью наклонилось старое дерево, напоминая иссохшую руку, простертую над бездной. Его верхние ветви скрывались в пене водопада, а узловатые корни выступали из скалы немного пониже края обрыва; и вершину и корни оно купало в потоке. Трудно было сказать, что это за дерево, на нем совсем не осталось листьев. Это было поразительное явление: поток, который давал влагу его корням и поддерживал его жизнь, в своем стремительном падении срывал и уносил все нежные молодые побеги, оставляя только старые, крепкие сучья.

## LII

Здесь, в этом мрачном месте, негры остановились, и я понял, что час моей смерти наступил.

И вот теперь, на краю этой бездны, в которую я устремился, можно сказать, добровольно, передо мной снова встало видение счастья, отвергнутого мной всего несколько часов назад, и горькое сожаление, почти раскаяние сжало мое сердце. Молить о пощаде было бы недостойно, но все-таки жалоба сорвалась с моих уст.

— Друзья! — воскликнул я, обращаясь к неграм, окружавшим меня. — Как тяжело умирать в двадцать лет, когда ты молод и полон сил, когда ты любишь и любим, и знаешь, что на свете есть глаза, которые будут лить по тебе слезы, пода не закроются навеки!

В ответ на мои слова раздался отвратительный хохот. То смеялся маленький оби. Этот злой дух, это непостижимое существо в одно мгновение очутилось рядом со мной.

— Ага! Тебе жаль жизни! Labado sea Dios![[113]](#footnote-113) Я боялся одного, что ты не испугаешься смерти!

Опять этот голос и этот смех, над которым я столько ломал себе голову.

— Кто же ты, исчадие ада? — крикнул я.

— Сейчас узнаешь! — голос карлика был страшен. — Смотри! — и он сдвинул в сторону серебряное солнце, висевшее на его темной груди.

Я наклонился к нему. На его волосатой груди виднелись бледные шрамы, образующие два имени, — отвратительное и неизгладимое клеймо, выжженное каленым железом на теле раба. Одно имя было «Эффингем», другое — моего дяди и мое собственное: «д’Овернэ!» Я онемел от удивления.

— Ну что, Леопольд д’Овернэ? Твое имя ничего не говорит тебе о моем?

— Нет! — отвечал я, изумленный, что он знает, как меня зовут; я напрягал свою память. — Эффингем и д’Овернэ... Эти два имени были только на груди у шута... но бедный карлик умер, притом он был нам предан... Нет, не может быть! Ты не Хабибра!

— Он самый! — проревел карлик и, приподняв окровавленный колпак, сорвал свое покрывало. Передо мной было безобразное лицо нашего домашнего шута; но прежнее выражение дурацкой веселости, к которому я привык, исчезло; он смотрел мрачно и угрожающе. Я был потрясен.

— Великий боже! Неужели все мертвые воскресли?! Да это же Хабибра — дядин шут!

— Его шут... и его убийца, — глухо сказал карлик, схватившись за рукоять кинжала.

Я в ужасе отшатнулся.

— Его убийца!.. Изверг! Так-то ты отплатил ему за его доброту!

Он перебил меня:

— За его доброту! Скажи лучше за его оскорбления!

— Как! Значит, это ты убил его, негодяй!

— Да, я! — лицо его было ужасно. — Я всадил ему нож прямо в сердце, и так глубоко, что он едва успел проснуться, как тут же погрузился в вечный сон. Он только тихо вскрикнул: «Ко мне, Хабибра!..» Что ж, я и был возле него!

Его чудовищный рассказ, его чудовищное хладнокровие возмутили меня.

— Подлый убийца! Злодей! Ты позабыл все милости, которыми он осыпал тебя! Ты ел у его стола, спал у его постели.

— Да, как собака! — резко перебил меня Хабибра. — Como un perro! Оставь! Я слишком хорошо помню все эти милости: каждая из них была оскорблением! Я отомстил ему за них, а теперь отомщу и тебе! Слушай! Ты думаешь, что если я мулат, если я карлик и урод, так я уже не человек? Нет, у меня есть душа, и душа более глубокая, более сильная, чем та, которую я вырву из твоего изнеженного тела. Меня подарили твоему дяде, точно обезьянку. Я был его игрушкой, он с презрением забавлялся мной. Ты говоришь, что он меня любил, что я занимал место в его сердце. Да, место между его мартышкой и попугаем! Но я выбрал себе другое и добыл его кинжалом!

Я содрогнулся.

— Да, это я. Это вправду я! Посмотри на меня, Леопольд д’Овернэ. Ты немало издевался надо мной, трепещи же теперь! Ты посмел напомнить мне об оскорбительной привязанности твоего дяди к тому, кого он называл своим шутом. Но какова была эта привязанность, bon Giu! Когда я входил в вашу гостиную, все встречали меня пренебрежительным смехом; мой рост, уродливое тело, черты лица, смехотворный наряд, мое природное убожество, достойное сострадания, — все вызывало насмешки твоего ненавистного дяди и его ненавистных друзей. А я — я не имел права даже молчать; о rabia![[114]](#footnote-114) я должен был вместе с ними смеяться над самим собой! И ты считаешь, что человеческое существо должно быть благодарно за такие унижения? Ты думаешь, что эти муки не стоят страданий других рабов, их изнурительного труда под палящим солнцем с утра и до вечера, в железных ошейниках, под бичом надсмотрщика?.. Ты думаешь, этого еще мало, чтобы породить в сердце человека ненависть, страстную, беспощадную, вечную, как эта печать позора, заклеймившая мою грудь! О, как долго я страдал и как краток был миг моей мести! Зачем я не заставил моего жестокого тирана испытать все те пытки, которым он подвергал меня ежедневно, ежесекундно! Зачем не изведал он перед смертью всей горечи оскорбленной гордости, не узнал жгучих слез стыда и бешенства, от которых горело мое лицо, осужденное вечно смеяться! Увы! Так долго, так горячо ожидать часа мщения и покончить все одним взмахом кинжала! Он даже не увидел, чья рука нанесла ему смертельный удар! Я жаждал поскорей услышать его предсмертный хрип; я слишком быстро всадил в него нож; он умер, так и не узнав меня; ослепленный яростью, я не успел насладиться моей местью! Зато я упьюсь ею сегодня. Ты хорошо видишь меня? Да, пожалуй, тебе меня трудно узнать, я предстал перед тобой в новом свете. Ты знал меня всегда веселым и смешным, но теперь, когда мне незачем прятать мою душу, я непохож на прежнего Хабибру. Ты видел лишь мою маску; смотри, вот мое лицо!

Он был страшен.

— Ты ошибаешься, чудовище, все равно ты остался шутом, — крикнул я. — В твоем зверском лице и зверином сердце есть что-то шутовское!

— Не тебе говорить о зверстве, — перебил меня Хабибра. — Вспомни о жестокости твоего дяди!

— Гнусный лицемер! — продолжал я с негодованием. — Если он бывал жесток, то по твоей вине! Ты скорбишь о судьбе несчастных негров, так почему же ты употреблял во вред твоим братьям доверие, которое оказывал тебе дядя? Почему ты никогда не пытался смягчить его и облегчить их участь?

— Нет, этого я не хотел! Чтоб я стал мешать зверствам белого? Никогда! Напротив, я делал все, чтобы он еще хуже обращался со своими рабами: это приближало час восстания. Жестокое угнетение ускоряло возмездие! Пускай казалось, что я причиняю зло моим братьям, — я служил их делу!

Я был поражен глубиной его коварного замысла.

— Что ты скажешь теперь? — продолжал карлик. — Ловко задумано и ловко сделано, верно? Каков дурак Хабибра? Каков шут твоего дяди?

— Кончай же то, что ты так ловко задумал! — ответил я. — Убей меня, только поторопись.

Он принялся ходить взад и вперед по площадке, потирая руки.

А что, если я не хочу торопиться? Если я хочу досыта насладиться твоими муками? Видишь ли, мне полагалась часть добычи, взятой нами во время последнего нападения. Но как только я увидел тебя в лагере, я отказался от всего и попросил у Биасу лишь твою жизнь. Он охотно согласился; теперь ты мой! Вот я и хочу потешиться. Будь спокоен, ты скоро полетишь в пропасть вместе с этим водопадам; но я еще должен сказать тебе кое-что: я открыл то место, где скрывается твоя жена, и подал Биасу мысль поджечь лес; сейчас он, вероятно, уже охвачен огнем. Теперь вся твоя семья уничтожена. Твой дядя погиб от ножа; ты погибнешь от воды; твоя Мари — от огня!

— Гадина! — крикнул я вне себя и хотел броситься на него.

— Ну-ка, свяжите его! — приказал Хабибра неграм. — Ему, видно, не терпится умереть.

Негры принялись молча связывать меня веревками, принесенными ими с собой. В эту минуту где-то вдали послышался собачий лай, но я решил, что это лишь почудилось мне в реве водопада. Негры связали меня и потащили к краю пропасти. Хабибра, скрестив руки на груди, смотрел на нас с злобной радостью и торжеством. Я отвернулся от его гнусного лица и поднял глаза к расселине в своде, чтобы еще раз взглянуть на небо. Лай послышался снова; теперь он был явственней и громче. Огромная голова Раска показалась в расселине. Я вздрогнул. «Ну, живей!» — крикнул карлик. Негры, не слыхавшие лая, схватили меня, чтобы бросить в бездну...

## LIII

— Товарищи! — раздался громовой голос.

Все обернулись. На краю расселины стоял Бюг-Жаргаль; красное перо развевалось над его головой.

— Товарищи! — повторил он. — Остановитесь!

Негры пали ниц перед ним.

— Я Бюг-Жаргаль!

Тут негры принялись биться лбами о землю, испуская громкие крики, которых я не понял.

— Развяжите пленника! — приказал вождь.

Неожиданное появление Бюг-Жаргаля ошеломило карлика; теперь он пришел в себя. Он бросился к неграм, уже готовым перерезать мои путы, и грубо остановил их.

— Не сметь! — крикнул он. — Что это значит?

Затем он повернулся к Бюг-Жаргалю.

— Что вам здесь надо, вождь Красной Горы?

— Мне надо отдать приказ моим братьям. Я их вождь, — ответил Бюг-Жаргаль.

— Да, это так, все они — воины Красной Горы, — со сдержанным бешенством сказал карлик. — Но по какому праву распоряжаетесь вы моим пленником? — воскликнул он, повышая голос.

— Я Бюг-Жаргаль! — последовал ответ.

Негры опять стукнулись лбом о землю.

— Бюг-Жаргаль не может отменить то, что приказал Биасу! — продолжал карлик. — Этот белый был отдан мне Биасу. Я хочу, чтоб он умер; и он умрет. Эй, вы! Повинуйтесь! Бросайте его в пропасть! — крикнул он неграм.

Властный голос оби заставил негров подняться, они сделали шаг ко мне. Я думал, что все кончено.

— Развяжите пленника! — крикнул Бюг-Жаргаль.

В тот же миг я был свободен. Мое изумление могло сравниться лишь с бешенством колдуна. Он хотел броситься на меня. Негры удержали его. Тогда он разразился ругательствами и угрозами.

— Demonios! Rabia! Inferno de mi alma![[115]](#footnote-115) Как! Негодяи! Вы отказываетесь повиноваться мне? Вы не слушаетесь mi voz?[[116]](#footnote-116) Зачем я тратил el tiempo[[117]](#footnote-117) на разговоры с этим проклятым! Надо было сразу бросить его на съедение рыбам del baratro![[118]](#footnote-118) Но я хотел вкусить всю сладость мести, и вот у меня отнимают ее! О rabia de Satan! Escuchate, vosotros![[119]](#footnote-119) Если вы не исполните моего приказания и не столкнете этого гнусного белого в поток, — я прокляну вас! Ваши волосы поседеют; москиты и комары сожрут вас заживо; ваши руки и ноги станут гнуться, как камыш; ваше дыхание будет жечь вам глотки, как раскаленный песок, и вы скоро умрете, а после смерти ваши души будут осуждены вечно вертеть жернов величиной с гору на луне, где лютый холод!

Странное чувство охватило меня во время этой сцены. Мрак сырой пещеры, я — единственный белый среди негров, похожих на черных дьяволов, глубокая бездна, разверзшаяся у моих ног, мерзкий карлик, этот уродливый колдун, в пестрой одежде и остроконечном колпаке, едва видимый в полутьме, требующий моей смерти, и мой защитник — статный негр на краю расселины, там, где просвечивало небо: мне казалось, что я стою у врат ада и жду гибели или спасения своей души, что у меня на глазах идет упорная борьба между моим ангелом-хранителем и злым духом.

Негры застыли в ужасе, потрясенные проклятиями колдуна. Он поспешил воспользоваться их смятением и воскликнул:

— Я хочу, чтобы белый умер! Делайте, что я вам говорю; он умрет!

— Он будет жить! — твердо сказал Бюг-Жаргаль. — Я Бюг-Жаргаль. Мой отец был королем в стране Каконго и вершил суд на пороге своего дома.

Негры опять пали ниц перед ним.

Он продолжал:

— Братья, спешите к Биасу, скажите ему, чтоб он не вывешивал на вершине горы черного флага, который известит белых о смерти этого пленника; он спас жизнь Бюг-Жаргалю, и Бюг-Жаргаль хочет, чтоб он жил!

Негры поднялись с земли. Бюг-Жаргаль бросил им красное перо. Начальник отряда скрестил руки на груди, потом наклонился и бережно поднял перо; вслед за тем все негры ушли, не промолвив ни слова. Вместе с ними исчез во мраке подземного прохода и колдун.

Не могу описать вам, господа, мое состояние. Я устремил полные слез глаза на Пьеро, который смотрел на меня с каким-то странным выражением благодарности и гордости.

— Хвала создателю, — сказал он наконец, — все спасено. Брат, возвращайся той дорогой, которой ты пришел сюда. Я буду ждать тебя в долине.

И, махнув мне рукой, он скрылся.

## LIV

Я спешил поскорее увидеть своего спасителя и узнать, благодаря какому счастливому случаю он очутился здесь так вовремя, и двинулся к выходу из ужасной пещеры. Однако новые опасности подстерегали меня. Только я направился к подземному коридору, как вдруг кто-то преградил мне дорогу. Передо мной был Хабибра. Злобный колдун не ушел вслед за неграми, как я полагал, а притаился за выступом скалы, ожидая удобной минуты для мести. Теперь такой момент наступил. Карлик внезапно вырос передо мной и захохотал. Я был один, безоружный; а его руке сверкал кинжал, тот самый, который служил ему вместо распятия. При виде оби я невольно отступил.

— Ха-ха! Maldicho! Ты думал, что уже ускользнул от меня! Но глупый шут оказался умнее тебя! Теперь ты попался, и на этот раз я не заставлю тебя ждать! И друг твой Бюг-Жаргаль тоже не будет ждать тебя понапрасну! Ты пойдешь на свидание в долину: поток вынесет тебя прямо к нему.

И он бросился на меня с занесенным кинжалом.

— Чудовище! — крикнул я, отступая к обрыву. — Ты только что был палачом, теперь ты убийца!

— Я мщу! — и он заскрежетал зубами.

Я стоял на самом краю пропасти; карлик прыгнул на меня, чтобы столкнуть в нее ударам кинжала. Но я отскочил в сторону. Он поскользнулся на покрытом плесенью сыром камне, упал и покатился к краю обрыва, гладко обточенному водами потока. «Проклятие!» — взревел он, сорвавшись в пропасть.

Я уже говорил вам, что корни старого дерева выступали из трещины в скале, немного ниже уровня площадки. Падая, карлик зацепился своей пестрой юбкой за узловатое корневище, и теперь он изо всех сил ухватился обеими руками за эту неожиданную опору. Остроконечный колпак слетел с его головы; ему пришлось выпустить свой кинжал; орудие убийцы и шапка шута, увешанная бубенчиками, стукаясь о скалы, исчезли в стремнине.

Повиснув над страшной бездной, Хабибра попытался было вскарабкаться на площадку, но его короткие руки не доставали до ее края, и он только ломал себе ногти, в бесплодных усилиях ухватиться за скользкую поверхность скалы, нависшей над бездной, которая терялась во мраке. Он выл от бешенства.

Мне стоило лишь толкнуть его, и он оказался бы на дне пропасти; но такая мысль даже не пришла мне в голову, это было бы низостью. Мое поведение, по-видимому, поразило его. Возблагодарив бога за неожиданное спасение, ниспосланное им, я уже хотел предоставить карлика его участи и направился к выходу из подземелья, как вдруг его молящий и жалобный голос заставил меня остановиться.

— Господин мой! — кричал он. — Господин мой! Не уходите, умоляю вас! Во имя bon Giu не дайте грешнику умереть без покаяния! Спасите мою душу! Силы покидают меня, ветка скользит и гнется в моих руках, моя тяжесть тянет меня вниз, сейчас я выпущу ветку, или она обломится... Ах, господин мой! Внизу клокочет страшная пучина! Nombre santo de Dios![[120]](#footnote-120) Сжальтесь над вашим бедным шутом! Да, он преступник; но докажите ему, что белые лучше мулатов, хозяева лучше рабов!

Слова эти почти тронули меня; я подошел к краю пропасти и в тусклом свете, проникавшем из расселины в своде, увидел на отталкивающем лице Хабибры выражение, которого еще никогда не замечал на нем: он смотрел на меня с мольбой и отчаянием.

— Сеньор Леопольд, — снова заговорил карлик, заметив сострадание на моем лице. — Возможно ли, чтобы человек, видя своего ближнего в таком ужасном положении, не захотел помочь ему, если мог это сделать? Протяните мне руку, господин мой! Что вам стоит спасти меня! Для вас это так мало, а для меня — все! Подтяните меня к себе, умоляю вас! Моя благодарность искупит мои преступления!

— Несчастный, не напоминай мне о них! — прервал я его.

— Я ненавижу их теперь, господин! О, будьте великодушнее, чем я! Боже! Боже! Я слабею, я падаю!.. Ay desdichado![[121]](#footnote-121) Руку! Вашу руку! Дайте мне руку! Ради матери, носившей вас под сердцем!

Не могу вам передать, как жалобны были эти возгласы, полные страха и муки! Я все забыл. Передо мною был уже не враг, не предатель, не убийца; я видел лишь несчастного, которого легко мог спасти от ужасной смерти. Он так трогательно молил меня! Упреки, слова укоризны сейчас были бы бесполезны и смешны; нельзя было терять ни минуты. Я стал на колени на краю пропасти и, обхватив одной рукой ствол дерева, за корни которого держался несчастный карлик, протянул ему другую... Он тотчас же ухватился за нее обеими руками с необыкновенной силой; но вместо того чтобы начать с моей помощью постепенно подтягиваться кверху, он неожиданно рванул меня к себе. Если бы не дерево, служившее мне крепкой опорой, я, наверно, не удержался бы на краю обрыва и полетел за ним в пропасть.

— Что ты делаешь, злодей! — крикнул я.

— Я мщу тебе! — ответил он мне с адским хохотом. — Что, попался наконец! Болван! Ты сам полез в ловушку! Теперь ты в моих руках! Минуту назад ты был спасен, а я погибал; но ты сам бросился в пасть крокодила! Стоило мне пустить слезу, как ты уже расчувствовался! Теперь я умру спокойно. Я заплачу своей жизнью, чтоб отомстить. Попался, amigo! В твоем обществе мне не скучно будет среди рыб в озере!

— Предатель! Так-то ты благодаришь меня! — сказал я, напрягая все свои силы. — Ведь я хотел тебя спасти!

— Знаю! Я мог бы спастись с тобой, но я хочу, чтобы ты погиб со мной. Твоя смерть мне милее моей жизни. Иди!

Его корявые смуглые руки с чудовищной силой впились в мою руку; глаза сверкали, пена выступила на губах; неистовая злоба и жажда мщения удесятерили его силы, хотя лишь минуту тому назад он горько жаловался, что они покинули его; ноги его, как два рычага, упирались в отвесную стену скалы, а сам он метался, как тигр, яростно раскачивая толстый корень, который запутался в его одежде и против воли карлика удерживал его от падения; Хабибра пытался сломать этот корень, чтобы, повиснув на моей руке всей тяжестью своего тела, скорей стащить меня вниз. В дикой злобе, он кусал державшее его дерево, и тогда на мгновение замолкал отвратительный хохот, искажавший его и без того уродливое лицо. Казалось, то был злой дух, вышедший из пропасти, чтобы увлечь в свое темное царство пойманную им жертву.

Одно мое колено, к счастью, попало в небольшое углубление в камне; рука моя словно приросла к дереву, за которое я ухватился; я сопротивлялся усилиям карлика со всей силой, которую в минуту опасности придает человеку инстинкт самосохранения. Время от времени я с трудом переводил дыхание и громко звал: «Бюг-Жаргаль!» Но я почти не надеялся, что он услышит меня, — слишком далеко он был, и к тому же грохот водопада покрывал мой голос.

Карлик, не ожидавший встретить такое сопротивление с моей стороны, все усиливал свои яростные рывки. Наша борьба длилась недолго, — гораздо больше времени понадобилось, чтобы рассказать вам о ней, — но я чувствовал, что уже теряю силы. Рука моя почти онемела, ее сводила мучительная судорога; в глазах потемнело, какие-то светящиеся круги поплыли передо мной; в ушах раздавался звон; я слышал, как трещит, подаваясь, корень, как смеется злобный карлик, вот-вот готовый сорваться, и мне казалось, что зияющая бездна с ревом приближается ко мне.

Но прежде чем прекратить борьбу и уступить изнеможению и отчаянию, я сделал еще одну попытку: собрав остаток сил, я еще раз громко крикнул: «Бюг-Жаргаль!» В ответ раздался лай... Я узнал Раска и повернул голову. Бюг-Жаргаль и его собака стояли на краю расселины. Не знаю, услышал ли он мой крик, или, может быть, тревога обо мне привела его обратно. Он увидел грозившую мне опасность.

— Держись крепче! — крикнул он.

Хабибра, в страхе, что я могу еще спастись, прорычал с пеной у рта:

— Иди же! Иди! — и последним, нечеловеческим усилием рванул меня к себе.

Рука моя, ослабев, выпустила ствол дерева. Все было кончено! Но в тот же миг кто-то схватил меня сзади; это был Раск. По знаку своего хозяина, он спрыгнул со свода прямо на площадку и, вцепившись зубами в полы моего мундира, удержал меня от падения. Эта неожиданная помощь спасла меня. Последняя, отчаянная попытка, сделанная Хабиброй, обессилила его, — я же, собравшись с силами, снова дернул руку. Его одеревеневшие пальцы, наконец, разжались, и он выпустил ее; корень, который он так долго расшатывал, переломился под его тяжестью, и в ту минуту, когда Раск оттащил меня от края площадки, гнусный карлик скрылся в пенистых водах мрачного потока, посылая мне последнее проклятие, которого я так и не расслышал, — оно потонуло вместе с ним в глубине пропасти.

Так окончил свою жизнь шут моего дяди.

## LV

Ужасная сцена в пещере, моя отчаянная борьба и ее страшный исход совсем сломили меня. Я лежал без сил, почти без сознания. Голос Бюг-Жаргаля заставил меня очнуться.

— Брат! — крикнул он. — Выходи скорей отсюда! Через полчаса зайдет солнце. Я буду ждать тебя в долине. Иди за Раском!

Эти дружеские слова сразу вернули мне надежду, силу и бодрость. Я поднялся. Раск быстро скрылся в подземном коридоре, я пошел за ним; его лай указывал мне дорогу в темноте. Спустя несколько минут впереди забрезжил дневной свет; вскоре мы подошли к выходу из пещеры; только тут я свободно вздохнул. Когда я выходил из-под черного сырого свода, я вспомнил предсказание карлика: «Лишь один из нас двоих выйдет отсюда этой дорогой...» Пророчество сбылось, но совсем не так, как он рассчитывал.

## LVI

Спустившись в долину, я увидел Бюг-Жаргаля. Молча бросился я в его объятия; я жаждал задать ему тысячи вопросов, но от волнения не мог говорить.

— Слушай, — сказал он, — твоя жена, моя сестра, в безопасности. Я отвел ее в лагерь белых и передал вашему родственнику, начальнику сторожевых отрядов. Я хотел сдаться в плен, чтобы спасти тех негров, которые отвечали за меня своими головами. Но твой родственник велел мне бежать, чтобы попытаться спасти тебя; он сказал, что их расстреляют только в том случае, если Биасу казнит тебя, о чем он должен известить белых, выставив черный флаг на самой высокой из наших гор. Тогда я бросился бежать. Раск указывал мне дорогу, и, благодарение господу, я поспел вовремя! Ты будешь жить, и я тоже.

Протянув мне руку, он добавил:

— Брат, ты доволен?

Я снова обнял его; я умолял его не покидать меня больше и остаться среди белых; я обещал ему чин в колониальной армии. Но он сурово прервал меня:

— Брат, разве я предлагаю тебе вступить в наши ряды?

Я замолчал, чувствуя его правоту.

— Пойдем же скорее к твоей жене, — весело сказал он, — ты должен ее успокоить!

Я и сам стремился к этому всеми силами своей души; я опьянел от счастья; мы двинулись в путь. Бюг-Жаргаль знал дорогу, он шел впереди, Раск бежал за нами...

Тут д’Овернэ замолчал и окинул всех мрачным взглядом. На лбу у него выступили крупные капли пота. Он прикрыл лицо рукой. Раск беспокойно смотрел на него.

— Да, вот так ты смотрел на меня тогда!.. — прошептал капитан.

В сильном волнении он встал и вышел из палатки. Вслед за ним вышли сержант и собака.

## LVII

— Бьюсь об заклад, что нас ожидает трагическая развязка! — воскликнул Анри. — Право, будет жаль, если с этим Бюг-Жаргалем случится что-нибудь дурное! Отличный был малый!

Паскаль оторвался на минуту от своей фляжки и сказал:

— Я отдал бы дюжину корзин портвейна, чтобы взглянуть на тот кокосовый орех, который он осушил залпом!

Альфред, мечтавший о чем-то под звуки своей гитары, перестал перебирать струны и попросил лейтенанта Анри поправить ему аксельбанты.

— Этот негр, право, очень занимает меня, — заметил он. — Интересно, знал ли он также мотив «La hermosa Padilla».[[122]](#footnote-122) Пока я не решился спросить об этом д’Овернэ.

— А по мне, так Биасу гораздо любопытнее, — сказал Паскаль. — Его запечатанное вино, вероятно, было дрянь, но зато этот человек знал, что такое француз! Если бы я попал к нему в плен, я отрастил бы усы, — а вдруг он дал бы мне под них взаймы несколько пиастров! Был же такой случай с одним португальским капитаном в городе Гоа! И уверяю вас, что мои кредиторы гораздо безжалостней Биасу!

— Кстати, капитан, получите четыре луидора, которые я вам остался должен! — сказал Анри, бросая ему свой кошелек.

Паскаль удивленно посмотрел на своего великодушного должника, который с большим основанием мог бы назвать себя его кредитором.

— Ну, господа, — продолжал Анри, — скажите, что же вы думаете об этой истории, которую рассказывает нам д’Овернэ?

— Откровенно говоря, я слушал не очень внимательно, — отозвался Альфред. — Но от мечтателя д’Овернэ я ожидал, признаться, чего-нибудь более интересного. Да и романс у него не в стихах, а в прозе; терпеть не могу романсов в прозе: к ним и мотива-то не подберешь! Вообще история этого Бюг-Жаргаля мне наскучила; очень уж она длинна!

— Вы правы, — поддержал Альфреда адъютант Паскаль, — она слишком длинна. Кабы не моя трубка да фляжка, я провел бы прескучный вечер. Заметьте к тому же, что в его рассказе множество нелепостей. Ну вот, например, — кто поверит, что этот уродец колдун... как его там... не то Кабы-брать, не то Кабибра... готов был сам утонуть, лишь бы утопить своего врага!..

— Да еще в воде, не так ли, капитан Паскаль? — улыбаясь, перебил его Анри. — А меня во время рассказа д’Овернэ больше всего забавляло, что его хромая собака поднимает голову всякий раз, как он произносит имя Бюг-Жаргаля.

— А вот старушки в Селадасе, — прервал его Паскаль, — те поступают совсем наоборот: как только проповедник произносит имя христово, они все тут же опускают голову; как-то раз вошел я в церковь с десятком кирасиров...

В эту минуту офицеры услышали стук ружья часового: то возвращался д’Овернэ. Все замолчали. Д’Овернэ несколько раз прошелся по палатке, скрестив руки на груди. Старый Тадэ, присевший в уголке, украдкой следил за ним, гладя Раска, чтобы скрыть от капитана свое волнение.

Наконец д’Овернэ заговорил.

## LVIII

— Итак, Раск бежал за нами. Солнце уже не освещало даже самой высокой из скал, окружавших долину. Вдруг ее вершину озарил какой-то отблеск и тут же исчез. Бюг-Жаргаль вздрогнул и крепко схватил меня за руку.

— Слушай! — сказал он.

Какой-то глухой звук, похожий на пушечный выстрел, прокатился по окрестностям, и эхо подхватило его.

— Сигнал! — мрачно произнес негр. — Ведь это пушка?

Я молча кивнул головой.

В два прыжка он очутился на высокой скале; я последовал за ним. Он скрестил руки на груди и грустно улыбнулся.

— Видишь? — сказал он.

Я посмотрел туда, куда были устремлены его глаза, и увидел остроконечную вершину, которую он уже показывал мне сегодня, когда я был у Мари, — единственную из всех, еще освещенную последними лучами заходящего солнца; на ней развевался большой черный флаг.

Д’Овернэ замолчал.

— Потом я узнал, — продолжал он немного погодя, — что Биасу, торопясь выступить и считая, что меня уже нет в живых, велел выставить это знамя еще до возвращения отряда, который должен был меня казнить.

Бюг-Жаргаль стоял неподвижно, скрестив руки, взгляд его был прикован к зловещему флагу. Вдруг он стремительно повернулся и сделал несколько шагов, словно собираясь бежать вниз.

— О боже! Мои несчастные товарищи!

Он снова подошел ко мне.

— Ты слышал пушечный выстрел? — спросил он.

Я не ответил.

— Это был сигнал, брат! Теперь их ведут на казнь...

Он поник головой. Затем сделал еще шаг ко мне.

— Возвращайся к твоей жене, брат, — сказал он, — Раск проводит тебя. — Он принялся насвистывать какую-то африканскую мелодию; собака завиляла хвостом и, казалось, приготовилась бежать в долину.

Бюг-Жаргаль взял меня за руку и попытался улыбнуться, но губы его дрожали.

— Прощай! — крикнул он твердым голосом и исчез в окружавшей нас чаще деревьев.

Я окаменел. Я еще не совсем понимал, что произошло, но предчувствие беды сжало мне сердце.

Видя, что его хозяин скрылся, Раск подбежал к краю скалы, поднял голову и жалобно завыл. Затем он вернулся ко мне, поджав хвост; его большие влажные глаза беспокойно смотрели на меня; потом он опять побежал к тому месту, где только что стоял его хозяин, и отрывисто залаял. Я понимал его; мы оба ощущали одинаковую тревогу. Я подошел к нему, и он тут же стрелой помчался по следам Бюг-Жаргаля. Если б он время от времени не останавливался, поджидая меня, я скоро потерял бы его из виду, хотя сам бежал изо всех сил. Таким образом мы пересекли несколько долин, перевалили через несколько лесистых холмов. Наконец...

Тут голос рассказчика оборвался. Глубокая печаль отразилась на его лице.

— Продолжай, Тадэ... — с трудом проговорил он. — У меня силы не больше, чем у дряхлой старухи.

Старый сержант был взволнован не меньше капитана; однако он счел своим долгом повиноваться.

— С вашего позволения... Если вы приказываете, господин капитан... Так вот, надо вам сказать, господа офицеры, что хотя этот Бюг-Жаргаль, которого мы называли Пьеро, и был прекрасный негр, добрый, сильный, смелый, наипервейший храбрец на земле, — конечно, после вас, господин капитан, — я был чертовски зол на него; никогда не прощу себе этого, хотя вы, господин капитан, и простили меня. И вот, когда я узнал, что вас должны казнить на другой день вечером, я так разъярился на этого беднягу, что и передать не могу. Поэтому я с дьявольской радостью сообщил ему, что либо он, либо десять его товарищей будут расстреляны и отправятся за вами на тот свет, как говорится, в отместку. Он и виду не подал, что это его тронуло, но час спустя он бежал, проделав большую дыру в...

Д’Овернэ сделал нетерпеливое движение. Тадэ продолжал:

— Ну ладно. Когда мы увидели на горе тот большой черный флаг, а негр и не думал возвращаться, что нас ничуть не удивило, с вашего позволения, господа офицеры, мы дали сигнал выстрелом из пушки, и мне было приказано доставить десять негров к месту расстрела, которое называлось «Чертова пасть» и отстояло от лагеря, примерно, на... Ну, да это неважно! Вот пришли мы туда, уж, понятно, не для того, чтобы отпустить их на все четыре стороны; я, значит, велел их связать, как водится, и расставил своих солдат. Вдруг вижу, из леса появляется высокий негр. У меня и руки опустились. Он подбежал ко мне, весь запыхавшись, и говорит:

— Слава богу, я не опоздал! Здравствуй, Тадэ!

— Да, господа, больше он ничего не сказал и бросился развязывать своих товарищей. Я просто остолбенел. Тут, с вашего позволения, господин капитан, между ними завязался великодушный спор, которому надо бы длиться подольше... Да ничего не поделаешь... виноват, я сам прекратил его! Пьеро стал на место тех негров... В эту минуту его пес... Бедный Раск! Он вылетел из лесу да как вцепится мне прямо в глотку. Ему надо бы еще немножко подержать меня так! Только Пьеро сделал знак, и бедный пес отпустил меня. Тогда он подбежал к своему хозяину и лег у его ног, уж этого Бюг-Жаргаль не мог ему запретить... Так вот, господин капитан, я ведь думал, что вас убили... Я не помнил себя от злости... Я скомандовал...

Сержант поднял руку, посмотрел на капитана и не мог выговорить роковое слово.

— Бюг-Жаргаль упал. Одна из пуль перебила лапу его пса... С тех пор, господа офицеры, — и сержант грустно покачал головой, — с тех пор он и хромает. Тут я услышал, что кто-то стонет в соседней роще; я пошел туда, — это были вы, господин капитан; пуля ранила вас, когда вы бежали к нам, чтобы спасти этого храброго негра. Да, господин капитан, вы стонали, но не от боли, а от горя: Бюг-Жаргаль был мертв! Мы принесли вас в лагерь, господин капитан. Ваша рана не была смертельна, как его рана; госпожа Мари выходила вас.

Сержант замолчал.

— Бюг-Жаргаль был мертв, — с глубокой скорбью торжественно повторил д’Овернэ.

— Да, он пощадил мою жизнь, а я... я убил его, — сказал Тадэ и поник головой.

*1826*

## Послесловие[[123]](#footnote-123)

Так как большинство читателей обычно проявляет настойчивое желание узнать до конца судьбу каждого действующего лица, которыми их пытались заинтересовать, то мы предприняли поиски, чтобы удовлетворить это желание и выяснить дальнейшую судьбу капитана Леопольда д’Овернэ, его сержанта и его собаки. Читатель, быть может, помнит, что мрачная задумчивость капитана была вызвана двумя причинами: смертью Бюг-Жаргаля, иначе говоря Пьеро, и утратой горячо любимой Мари, которая была спасена во время пожара форта Галифэ как будто лишь затем, чтобы вскоре погибнуть во время первого пожара в Капе. Что касается самого капитана, то вот что мы узнали о нем.

На другой день после большого сражения, выигранного войсками Французской республики у союзной европейской армии, дивизионный генерал М..., назначенный главнокомандующим, сидел один в своей палатке и, по донесениям начальника штаба, готовил для Национального Конвента доклад об одержанной накануне победе. Вошел адъютант и доложил ему, что с ним желает говорить присланный к нему народный представитель. Генерал не выносил послов этого рода, в красных колпаках, отправляемых Горой в войска, чтобы разлагать и опустошать их ряды, — этих заведомых доносчиков, которым палачи поручали шпионить за славой. Однако отказаться принять одного из них было опасно, особенно после победы. Кровожадный идол тех времен любил прославленные жертвы, и его жрецы с площади Революции радовались, когда могли одним ударом сразить и голову и венец, будь он из одних шипов, как у Людовика XVI, из цветов, как у верденских дев, или из лавра, как у Кюстина и Андре Шенье. Итак, генерал приказал ввести этого представителя.

После нескольких сдержанных и кислых поздравлений по поводу победы, только что одержанной республиканскими войсками, делегат подошел к генералу и сказал ему вполголоса:

— Это еще не все, гражданин генерал: мало победить внешних врагов, надо еще уничтожить врагов внутренних.

— Что вы хотите сказать, гражданин делегат? — спросил удивленный генерал.

— В вашей армии, — ответил комиссар Конвента многозначительно, — есть некий капитан Леопольд д’Овернэ. Он служит в тридцать второй полубригаде. Знаете ли вы его, генерал?

— Как же, знаю! — ответил генерал. — Я как раз читал сейчас донесение командира тридцать второй полубригады, в котором говорится о нем. Он был отличным капитаном.

— Что вы, гражданин генерал! — воскликнул делегат надменно. — Неужели вы его повысили в чине?

— Не скрою от вас, гражданин представитель, таково было действительно мое намерение...

Тут комиссар властно прервал генерала:

— Победа ослепляет вас, генерал! Будьте осторожны в своих словах и поступках! Если вы отогреете на своей груди змею — врага народа, берегитесь, как бы народ не раздавил вас вместе с нею! Этот Леопольд д’Овернэ — аристократ, контрреволюционер, роялист, фельянтинец, жирондист! Общественное правосудие требует его к ответу. Вы должны немедленно выдать его мне.

Генерал ответил холодно:

— Я не могу.

— Как, не можете! — вскричал комиссар, вспыхнув от гнева. — Разве вы не знаете, генерал, что я один наделен здесь неограниченной властью? Республика приказывает вам, а вы не можете? Слушайте же. Я хочу, в награду за ваши успехи, прочесть вам сведения, полученный мной об этом д’Овернэ; я должен отправить их вместе с его особой общественному обвинителю. Это выдержка из списка имен, и я думаю, вы не захотите, чтобы я закончил его вашим. Слушайте: «Леопольд Овернэ (бывший д’Овернэ), капитан тридцать второй полубригады, уличен: primo, в том, что рассказывал в кружке заговорщиков какую-то контрреволюционную историю, с целью опорочить принципы равенства и свободы и возродить старые предрассудки, известные под именем королевской власти и религии; secundo, в том, что, говоря о некоторых памятных событиях, например об освобождении бывших рабов в Сан-Доминго, он употреблял выражения, отвергнутые всеми истинными санкюлотами; tertio, в том, что во время своего рассказа постоянно пользовался словом господин и ни разу не сказал гражданин; и, наконец, quarto, что упомянутым рассказом он открыто подготовлял заговор против Республики, в пользу партии жирондистов и бриссотинцев. Он заслуживает смерти». Итак, генерал? Что вы скажете на это? Будете вы защищать этого предателя? Будете колебаться теперь, отдавать ли под суд этого врага своей родины?

— Этот враг своей родины отдал за нее жизнь, — с достоинством ответил генерал. — На отрывок из вашего доклада я отвечу отрывком из моего. Теперь слушайте вы: «Леопольду д’Овернэ, капитану тридцать второй полубригады, мы обязаны новой победой, одержанной нашими войсками. Коалиционная армия построила грозный редут; он был ключом к победе; взять его было необходимо. Смельчака, который бросился бы на него первым, ждала верная смерть. Капитан д’Овернэ пожертвовал собой; он взял редут, погиб на нем, и мы победили. Около него было найдено тело сержанта Тадэ из тридцать второй и убитая собака. Мы предлагаем Национальному Конвенту отметить в декрете большие заслуги капитана Леопольда д’Овернэ перед родиной». Вы видите, — продолжал спокойно генерал, — как различны наши задачи. Каждый из нас посылает свой список в Конвент. В обоих списках мы находим одно и то же имя. Вы называете его предателем, а я — героем; вы хотите его опозорить, я — прославить; вы предлагаете воздвигнуть ему эшафот, я — триумфальную арку. У каждого своя роль. Какое счастье, однако, что ему удалось благодаря этой битве избежать вашей кары. Слава богу! Тот, кого вы хотели предать смерти, уже умер. Он опередил вас.

Делегат, в ярости, что вместе с главным заговорщиком пропал и весь его заговор, пробормотал сквозь зубы:

— Он умер! Очень жаль!

Генерал услышал эти слова и воскликнул, возмущенный:

— У вас остается еще одна возможность, гражданин народный представитель! Подите, отыщите тело д’Овернэ среди развалин редута. Как знать? Быть может, вражеские ядра пощадили голову убитого, сохранив ее для гильотины!

## О романе

Первое произведение Гюго «Бюг-Жаргаль» было написано им в шестнадцатилетнем возрасте, для сборника «Рассказы в походной палатке», задуманного им вместе с группой школьных друзей в 1818 году. В 1820 году «Бюг-Жаргаль» был напечатан в журнале «Литературный консерватор», издававшемся В. Гюго вместе с его братом Абелем.

В 1825 году Гюго вернулся к рассказу, расширил, переработал его и опубликовал за подписью «Автор Гана Исландца» в 1826 году и в том же году, вторично, под своим именем. Редакцию 1826 года Гюго считал окончательной.

Вариант 1820 года представляет собою небольшую новеллу, в центре которой стоит яркий образ благородного и великодушного негра Бюг-Жаргаля, трагическую историю которого рассказывает французский офицер, капитан Дельмар. Образ Бюг-Жаргаля целиком перешел во вторую редакцию, но произведение в целом сильно изменилось; новелла о судьбе одного негра превратилась в роман о восстании чернокожих рабов во французской колонии Сан-Доминго (северо-западная часть острова Гаити) в 1791 году.

Гюго писал роман на основе исторических документов, рассказов очевидцев, газетных материалов; он показал восстание 1791 года в ярких красках, со многими историческими подробностями.

Злободневность темы была главной причиной успеха «Бюг-Жаргаля» у первых читателей. Как отмечает сам автор в предисловии к изданию 1826 года, волнения негров и мулатов на Гаити к середине 20-х годов XIX века вновь создали угрозу для господства колонизаторов. Отсюда и живой интерес к роману.

По сравнению с вариантом 1820 года значительные изменения претерпел и сюжет «Бюг-Жаргаля». Появился совершенно новый образ — Мари, и новый мотив: любовь Бюг-Жаргаля к невесте его белого друга, о чем не было и речи в первом варианте. Бегло очерченный капитан Дельмар превратился в героя с развернутой характеристикой — капитана Леопольда д’Овернэ. В романе возник ряд новых эпизодов и второстепенных персонажей, в том числе гротескный образ злого карлика Хабибры.

Первый роман Гюго отличается идейной и творческой незрелостью; жизненная правда переплелась здесь с неправдоподобными мелодраматическими положениями, с наивной сентиментальностью. Монархические убеждения молодого Гюго привели к искаженному освещению восстания негров, к преувеличению жестокости восставших, к идеализации французского дворянина д’Овернэ. В «Послесловии» Гюго повторяет легитимистскую клевету на французскую революцию, изображает революционных якобинцев кровожадными чудовищами, а поэта-монархиста Андре Шенье, генерала Кюстина, осужденного за измену Республике, и «верденских дев» — группу аристократок, замешанных в организации предательской сдачи города Вердена прусским войскам в 1792 году, — представляет невинными мучениками. Однако между «Послесловием» и романом нет органической связи; «Послесловие» противоречит всей идейной направленности произведения. Стремление к правдивости в искусстве толкало юношу-Гюго на верную дорогу: в героическом образе Бюг-Жаргаля и его друзей негров, в разоблачении зверств, низости и трусости белых плантаторов уже виден Гюго-демократ; не случайно единственный белый в романе, проявивший достоинство перед казнью в лагере Биасу, — это плотник, человек из народа, а самые горячие симпатии молодого автора — на стороне восставшего раба.

1. Это предисловие, сопровождавшее первые издания, датировано январем 1826 г. [↑](#footnote-ref-1)
2. *...когда тебя обнял Латур д’Овернь, первый гренадер Франции.* — Латур д’Овернь Теофиль (1743—1800) — французский солдат времен Первой буржуазной революции; совершал многочисленные подвиги во имя Республики. Убит в сражении. Посмертно ему было присвоено почетное звание «первого гренадера Франции». Вокруг его имени создались легенды. [↑](#footnote-ref-2)
3. Французская собака (англ.) [↑](#footnote-ref-3)
4. *...во время резни, с которой началось восстание рабов в этой богатейшей колонии.* — Имеется в виду восстание негров в Сан‑Доминго в августе 1791 г., послужившее материалом для романа Гюго «Бюг‑Жаргаль». Население Сан‑Доминго к концу XVIII в. делилось на несколько резко обособленных и враждебных групп. Первенствующее положение занимали «крупные белые» — богатые землевладельцы‑креолы (то есть французы, родившиеся в колонии), за ними следовали «мелкие белые» (ремесленники, коммерсанты, юристы). Особняком стояли мулаты (или «свободные цветные»), не имевшие политических прав, но пользовавшиеся привилегиями по сравнению с неграми. Среди мулатов были крупные плантаторы и коммерсанты. На последней ступени общественной лестницы находились сотни тысяч чернокожих рабов, которых ни белые, ни мулаты не считали за людей и жестоко эксплуатировали.

   Классовая борьба в Сан‑Доминго обострилась под влиянием начавшейся во Франции в 1789 г. буржуазной революции. Мулаты отправили во Францию делегацию с требованием политического равноправия для «цветных», но ничего не добились и 21 октября 1790 г. подняли восстание против белых плантаторов Сан‑Доминго. Восстание было жестоко подавлено. Однако уже 16 августа 1791 г. запылали усадьбы плантаторов, началось восстание чернокожих рабов, которое приняло широкие размеры и охватило всю страну. Белые и мулаты объединились против восставших негров. Буржуазная революция не способна была разрешить вопрос о положении угнетенных масс в колониях. Декрет Конвента об уничтожении рабства, принятый лишь 4 февраля 1794 г., дошел в колонию только в 1795 г. и не был проведен в жизнь. Борьба продолжалась. Воспользовавшись ослаблением позиций французских рабовладельцев, Испания и Англия к середине 1794 г. оккупировали Сан‑Доминго. [↑](#footnote-ref-4)
5. Охотник за собаками (исп.) [↑](#footnote-ref-5)
6. Наши читатели, вероятно, забыли, что клуб «Массиак», о котором говорит лейтенант Анри, был создан обществом негрофилов. Этот клуб, основанный в Париже в начале Революции, был главным виновником восстаний, вспыхнувших в то время в колониях.

   Можно удивляться тому немного дерзкому легкомыслию, с каким молодой лейтенант осмеивает «филантропов», бывших тогда еще у власти. Но следует помнить, что во время, до и после террора в войсках сохранялась свобода мысли и слова. За это благородное преимущество время от времени какой‑нибудь генерал платился своей головой; но оно не может запятнать славу тех солдат, которых доносчики Конвента называли «господами из Рейнской армии». (Прим, авт.) [↑](#footnote-ref-6)
7. Быть может, значение этого слова требует более точного пояснения Господин Моро де Сен‑Мери, развивая систему Франклина, составил классификацию людей с различными оттенками кожи, получившимися в результате смешанных браков цветного населения.

   Он считает, что человек состоит из ста двадцати восьми частей — черных у чернокожих, и белых у белокожих.

   Исходя из этого принципа, он устанавливает, что человек удаляется или приближается к одному из этих цветов, в зависимости от того, насколько он близок или далек от числа шестьдесят четыре, которое является для него средним пропорциональным.

   По этой системе человек, имеющий меньше восьми белых частей, считается черным.

   Приближаясь от черного к белому цвету, можно различить девять основных видов, между которыми располагается еще много разновидностей, в зависимости от количества частей того или другого цвета. Эти девять видов таковы: сакатра, замбо, марабу, мулат, квартерон, метис, мамелюк, полуквартерон и человек смешанной крови.

   Человек смешанной крови, продолжая соединяться с белыми, под конец, можно сказать, возвращается к этому цвету. Однако утверждают, что на какой‑нибудь части своего тела он все же непременно сохраняет неизгладимый след своего происхождения.

   Замбо — это результат пяти комбинаций, он может иметь от двадцати четырех до тридцати двух белых частей и от девяноста шести до ста четырех черных. (Прим. авт.) [↑](#footnote-ref-7)
8. Колдун. (Прим. авт.) [↑](#footnote-ref-8)
9. *Бланшланд* Филибер — генерал французских колониальных войск, назначенный губернатором Сан‑Доминго после восстания мулатов.

   В начале буржуазной революции 1789 г. крупные колониальные рабовладельцы, опасаясь отмены рабства, потребовали отделения Сан‑Доминго от революционной Франции и 1 ноября 1789 г. организовали в городе Кап‑Франсэ (Северная провинция Сан‑Доминго) провинциальное собрание, объявившее себя верховной властью и соединившееся вскоре с такими же собраниями плантаторов Южной и Западной провинций. Затем было созвано колониальное собрание, которое открылось 25 марта 1790 г. в городе Сен‑Марк под именем «Генерального собрания французской части населения Сан‑Доминго», или «Сен‑Маркского собрания», и вотировало конституцию, означавшую фактически автономию Сан‑Доминго.

   Белое население колонии разделилось на две партии: «красных помпонов» — сторонников Сен‑Маркского собрания, и «белых помпонов» — монархистов, противников отделения от Франции.

   Вновь назначенный губернатор Бланшланд пытался проводить декреты французского правительства, но «красные помпоны» сумели возбудить против него, как представителя старого режима, солдат и матросов, прибывших из Франции в Порт‑о‑Пренс, что привело к военному бунту 4 марта 1791 г., после которого сепаратисты захватили власть в Западной провинции Сан‑Доминго, а Бланшланд предстал перед революционным трибуналом в Париже. [↑](#footnote-ref-9)
10. *Модюи* дю Плесси Тома — яростный враг французской революции и освобождения негров; собрал в Сан‑Доминго роялистский отряд, отказался подчиниться Бланшланду, учинял кровавые насилия, издавал фальшивые декреты от имени французского правительства. Разоблаченный прибывшими из Франции солдатами, был зарублен своими же гренадерами во время бунта 4 марта 1791 г. [↑](#footnote-ref-10)
11. *...об этой борьбе за первенство между Капом и Порт‑о‑Пренсом.* — Белое население города Порт‑о‑Пренс (Западная провинция) не поддержало сепаратистов Севера. [↑](#footnote-ref-11)
12. Попался! Попался! (исп. — Прим. авт.) [↑](#footnote-ref-12)
13. Мы сочли излишним приводить здесь целиком испанский романс «Porque me huyes, Maria?» и т. д. (Прим. авт.) [↑](#footnote-ref-13)
14. Наши читатели, вероятно, знают, что Испаньола — первое название, данное Христофором Колумбом острову Сан‑Доминго в год его открытия, в декабре 1492 г. (Прим. авт.) [↑](#footnote-ref-14)
15. Что вы хотите этим сказать? (исп. — Прим. авт.) [↑](#footnote-ref-15)
16. Так называл свой колпак маленький замбо (исп. — Прим. авт.) [↑](#footnote-ref-16)
17. прекрасный (исп.) [↑](#footnote-ref-17)
18. Десять кошельков (исп.) [↑](#footnote-ref-18)
19. Черт возьми! (исп.) [↑](#footnote-ref-19)
20. короля Людовика XV (исп.) [↑](#footnote-ref-20)
21. прекрасные дублоны (золотая монета) (исп.) [↑](#footnote-ref-21)
22. возлюбленный господин (исп.) [↑](#footnote-ref-22)
23. с вашего разрешения (исп. — Прим. авт.) [↑](#footnote-ref-23)
24. человек (исп.) [↑](#footnote-ref-24)
25. Зачем ты убил его? (исп. — Прим. авт.) [↑](#footnote-ref-25)
26. Я, контрабандист... (исп. — Прим. авт.) [↑](#footnote-ref-26)
27. *...ваше собрание в полном составе отправилось во Францию...* — Сен‑Маркское собрание не получило поддержки населения Сан‑Доминго и в начале августа 1790 г., под нажимом войск губернатора, окруживших г. Сен‑Марк, вынуждено было пойти на самоликвидацию. Оставшиеся 85 членов Собрания сели на военный корабль «Леопард», экипаж которого был на их стороне, и отплыли во Францию, где якобинцы, неосведомленные об их сепаратистских тенденциях, устроили им торжественную встречу. Однако уже 12 октября 1790 г. Учредительное собрание особым декретом признало деятельность Сен‑Маркского собрания незаконной. [↑](#footnote-ref-27)
28. Смешная мышь (лат.). Конечные слова стиха 139 из «Науки поэзии» Горация: «Горы томятся родами, и мышь смешная родится». [↑](#footnote-ref-28)
29. *Букман* — негр‑священник, такой же раб, как и его товарищи; поднял восстание чернокожих рабов в районе Кап‑Франсэ 16 августа 1791 г. Погиб в бою в разгар восстания. [↑](#footnote-ref-29)
30. Так назывались белые, не владевшие землей и занимавшиеся каким‑нибудь ремеслом. (Прим. авт.) [↑](#footnote-ref-30)
31. *Клуб Массиак* , или «Корреспондирующее общество французских колонистов» (назван по имени маркиза де Массиак, в парижском особняке которого в 1789 г. происходили собрания членов клуба) — организация французских рабовладельцев, ставивших задачей в обстановке начавшейся буржуазной революции сохранить в колониях рабовладение и работорговлю; Гюго, очевидно, смешивает «Клуб Массиак» с «Обществом друзей чернокожих», возникшим в Париже в то же время и действительно требовавшим во имя «гуманности» и «прав человека» освобождения рабов. [↑](#footnote-ref-31)
32. *Биасу... Жан‑Франсуа* — исторические личности, вожди негритянской армии во время событий в Сан‑Доминго в 90‑х гг. XVIII в. [↑](#footnote-ref-32)
33. Белый! Белый! (исп.) [↑](#footnote-ref-33)
34. Приготовьтесь! Приготовьтесь! (Прим. авт.) [↑](#footnote-ref-34)
35. Что вы делаете, проклятые ведьмы! Что вы там делаете? Оставьте моего пленника! (исп. — Прим. авт.) [↑](#footnote-ref-35)
36. Довольно! Довольно! Оставьте пленника Биасу (исп. — прим. авт.) [↑](#footnote-ref-36)
37. Проклятый! (исп. — Прим. авт.) [↑](#footnote-ref-37)
38. Ничего! Ничего! (Прим. авт.) [↑](#footnote-ref-38)
39. суконная шапка (исп.) [↑](#footnote-ref-39)
40. известно, что это цвет испанской кокарды. (Прим. авт.) [↑](#footnote-ref-40)
41. *Это был портрет мулата Оже.* — Оже — вождь восстания мулатов в Сан‑Доминго в октябре 1790 г. После подавления восстания ему удалось бежать на испанскую территорию острова; выданный испанским губернатором по требованию Северного провинциального собрания, Оже, вместе со своим братом и своим помощником Шаваном, был колесован в Кап‑Франсэ. [↑](#footnote-ref-41)
42. Его католического величества (исп. — Прим. авт.) [↑](#footnote-ref-42)
43. Ты мне кажешься храбрым человеком (исп. — Прим. авт.) [↑](#footnote-ref-43)
44. Господин священник (исп.) [↑](#footnote-ref-44)
45. Господь бог. — Креольское наречие. (Прим. авт.) [↑](#footnote-ref-45)
46. Почтенный отец. — Креольское наречие. (Прим. авт.) [↑](#footnote-ref-46)
47. «Теперь вы познали господа; вот я показываю его вам. Белые убили его; убивайте всех белых!»

    Впоследствии Тусен‑Лувертюр постоянно обращался к неграм после причастия с такими же словами. (Прим. авт.) [↑](#footnote-ref-47)
48. Видите, что значат белые в сравнении с вами! (Прим. авт.) [↑](#footnote-ref-48)
49. Время благодушия миновало (исп. — Прим. авт.) [↑](#footnote-ref-49)
50. Saint‑Loup (волк) — святой Лупп. [↑](#footnote-ref-50)
51. Сущие дьяволы (исп.) [↑](#footnote-ref-51)
52. Они нагло вторглись (исп. — Прим. авт.) [↑](#footnote-ref-52)
53. Они боятся. — Креольское наречие. (Прим. авт.) [↑](#footnote-ref-53)
54. белых дьяволов (исп.). [↑](#footnote-ref-54)
55. о братья моей души (исп. — Прим. авт.) [↑](#footnote-ref-55)
56. в красивых шляпах (исп.) [↑](#footnote-ref-56)
57. по семнадцати квартос за вару (испанская мера длины, равная приблизительно локтю). (Прим. авт.) [↑](#footnote-ref-57)
58. «Убей моего отца, а я убью твоего». Действительно, встречались мулаты, не решавшиеся сами пойти на отцеубийство и говорившие эти ужасные слова. (Прим. авт.) [↑](#footnote-ref-58)
59. Старинное название Сан‑Доминго, означающее «Большая Земля». Туземцы называли его также Arty. (Прим. авт.) [↑](#footnote-ref-59)
60. водка (прим. авт.) [↑](#footnote-ref-60)
61. Этот способ лечения до сих пор довольно распространен в Африке, в частности среди мавров Триполи, которые часто бросают в свое питье пепел страницы из книги Магомета. Такому зелью они приписывают чудодейственную силу.

    Один английский путешественник, я уж не помню кто именно, называл этот напиток «настойкой из Алкорана». (Прим. авт.) [↑](#footnote-ref-61)
62. Люди, слушайте! — Смысл, который испанцы вкладывают в данном случае в слово hombres, не поддается переводу. Это больше, чем «люди», и меньше, чем «друзья». (Прим. авт.) [↑](#footnote-ref-62)
63. Я изучал науку цыган (исп. — Прим. авт.) [↑](#footnote-ref-63)
64. *Риго* — историческое лицо, возглавил восстание мулатов в 1791 г. [↑](#footnote-ref-64)
65. Увы, великодушный сеньор, посмотрите мой глаз! (исп. — Прим. авт.) [↑](#footnote-ref-65)
66. Так называли старых негров, неспособных к работе. (Прим. авт.) [↑](#footnote-ref-66)
67. Я уже окривел! (исп. — Прим. авт.) [↑](#footnote-ref-67)
68. братья (исп.) [↑](#footnote-ref-68)
69. Сыновья, друзья, братья, отроки, дети, матери и все, кто здесь слушает меня (исп. — Прим. авт.) [↑](#footnote-ref-69)
70. Что я говорил? (исп.) [↑](#footnote-ref-70)
71. Генерал‑майора (исп.) [↑](#footnote-ref-71)
72. Подойдите, ваша милость! (исп. — Прим. авт.) [↑](#footnote-ref-72)
73. Начинаю (исп. — Прим. авт.) [↑](#footnote-ref-73)
74. Благодарю (исп.) [↑](#footnote-ref-74)
75. Сеньор священник, доктор‑целитель (исп.) [↑](#footnote-ref-75)
76. Бесплатно (лат.) [↑](#footnote-ref-76)
77. Черт возьми! (исп.) [↑](#footnote-ref-77)
78. Чтоб унесли тебя черти из семнадцати преисподних! (Прим. авт.) [↑](#footnote-ref-78)
79. Господин философ (исп.) [↑](#footnote-ref-79)
80. Креольское кушанье (Прим. авт.) [↑](#footnote-ref-80)
81. Поговорка, популярная среди мятежных негров; вот ее дословный перевод: «Негры — это белые, белые — это негры». Смысл ее лучше бы перевести так: «Негры — господа, а белые — рабы». (Прим. авт.) [↑](#footnote-ref-81)
82. Убейте белого, убейте белого! (Прим. авт.) [↑](#footnote-ref-82)
83. Следует напомнить, что цветные с гневом отвергали это название, придуманное белыми, по их словам, в знак презрения. (Прим. авт.) [↑](#footnote-ref-83)
84. У многих людей смешанной крови действительно встречается темный ободок у основания ногтей, он пропадает с возрастом, но вновь появляется у их детей. (Прим. авт.) [↑](#footnote-ref-84)
85. Офицером. (Прим. авт.) [↑](#footnote-ref-85)
86. Когда вышел Израиль из Египта (лат.) [↑](#footnote-ref-86)
87. И со духом твоим (лат.) [↑](#footnote-ref-87)
88. Аминь (лат.) [↑](#footnote-ref-88)
89. Горе имеем сердца (лат.) [↑](#footnote-ref-89)
90. Молитесь, братья (лат.) [↑](#footnote-ref-90)
91. Добрый, добрая, доброго (лат.) [↑](#footnote-ref-91)
92. Тусен‑Лувертюр прибегал позже к этому средству с тем же успехом. (Прим. авт.) [↑](#footnote-ref-92)
93. завтрака (Прим. авт.) [↑](#footnote-ref-93)
94. ягненка (Прим. авт.) [↑](#footnote-ref-94)
95. горошек (Прим. авт.) [↑](#footnote-ref-95)
96. похлебке (исп.) [↑](#footnote-ref-96)
97. арбуза (Прим. авт.) [↑](#footnote-ref-97)
98. Десерт (Прим, авт.) [↑](#footnote-ref-98)
99. Испанское ругательство. [↑](#footnote-ref-99)
100. Тусен‑Лувертюр, прошедший школу Биасу, если и не превзошел его в ловкости, то по крайней мере не перенял его коварства и жестокости. Впоследствии он сумел приобрести такую же власть, как и Биасу, над фанатиками‑неграми. Этот негритянский вождь, выходец из Африки, происходивший, как говорят, из царского рода, получил, подобно Биасу, кое‑какое образование; к тому же он был даровит. Он создал себе в Сан‑Доминго своеобразный республиканский трон в то время, когда Бонапарт после победы основал во Франции монархию. Тусен простодушно восхищался первым консулом; но первый консул, видевший в Тусене неприятную пародию на свою собственную судьбу, всегда с презрением отказывался от всякой переписки с этим сбросившим оковы рабом, который осмелился написать ему: «Первому среди белых от первого среди черных». (Прим. авт.) [↑](#footnote-ref-100)
101. Да здравствует Испания (исп.) [↑](#footnote-ref-101)
102. Что говорит светлейший сеньор генерал‑майор? (исп. — Прим. авт.) [↑](#footnote-ref-102)
103. мы уже говорили, что Жан‑Франсуа присвоил себе это звание (Прим. авт.) [↑](#footnote-ref-103)
104. *Тусен‑Лувертюр* (1743—1803) — негр, сын раба из Сан‑Доминго, талантливый организатор и полководец. Примкнул к восстанию и в 1794 г. возглавил негритянскую армию. Тусен помог французским войскам вытеснить из Сан‑Доминго англичан и испанцев (см. примечание к стр. 46) и, установив негритянскую монархию, стал неограниченным властителем Сан‑Доминго. Изменнически схваченный по распоряжению Наполеона (тогда первого консула), был отправлен во Францию и умер в заключении. [↑](#footnote-ref-104)
105. на этот случай (лат.) [↑](#footnote-ref-105)
106. Кажется, это своеобразное и забавное письмо было действительно послано собранию. (Прим. авт.) [↑](#footnote-ref-106)
107. В полях Оканьи

     В плен я попал;

     Увезен в Котадилью,

     Несчастным стал! (исп.) [↑](#footnote-ref-107)
108. Что я могу сделать сейчас (Прим. авт.) [↑](#footnote-ref-108)
109. О чудо! Он уже не пленник! (исп. — Прим. авт.) [↑](#footnote-ref-109)
110. друзья (исп.) [↑](#footnote-ref-110)
111. Погибло войско — погиб и вождь! (исп. — Прим. авт.) [↑](#footnote-ref-111)
112. мальчик (исп.) [↑](#footnote-ref-112)
113. Слава богу! (исп.) [↑](#footnote-ref-113)
114. Ярость! (исп.) [↑](#footnote-ref-114)
115. Дьяволы! О ярость! Ад в моей душе! (исп.) [↑](#footnote-ref-115)
116. Моего голоса (исп.) [↑](#footnote-ref-116)
117. Время (исп.) [↑](#footnote-ref-117)
118. Водопада (исп.) [↑](#footnote-ref-118)
119. О сатанинская ярость! Слушайте, вы! (исп.) [↑](#footnote-ref-119)
120. Святое имя господне! (исп.) [↑](#footnote-ref-120)
121. О несчастный! (исп.) [↑](#footnote-ref-121)
122. Прекрасная Падилья (исп.) [↑](#footnote-ref-122)
123. Это послесловие Гюго к роману «Бюг‑Жаргаль» было опубликовано впервые в 1826 г. [↑](#footnote-ref-123)